

АКАДЕМИЯ АРХОНТИЯ

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ



ГРИГОРИЙ ПАВЛЕНКО

Григорий Павленко

Живой мертвец

«Автор»

2026

Павленко Г.

Живой мертвец / Г. Павленко — «Автор», 2026

С медяками у Айры порядок. Непорядок с кошельками: в карманах откуда-то завелись два чужих, и думать о них она себе запретила — в суд следовало приехать человеком с чистыми мыслями. Хотя бы мыслями. Сам суд пережили легко. Дорогу — хуже: за четыре дня у обоза украли сани, возок и ещё один возок. Столица — место честное: тут не рассказывают сказок про атаманов в масках, тут просто берут. Домой, в академию, Айра возвращалась выдохнуть. Зря: следом въехала опека — дом Кер, безупречные папки, «Я полагаю, начнём с описи». У новой хозяйки на всё есть бумага. Есть и брачная: дому нужен жених. Жених — ректор. А среди условий, мелким почерком, — приложение по одной адептке. Тем временем в дне пути от академии объявился покойник. Человек как человек: умер восемь лет назад, бумаги в полном порядке — только вот его недавно видели. Живым. Академия уже дала делу имя: живой мертвец. Айра, которая сама живёт под именем мертвеца, шутку оценила. Красть вещи она умеет. Людей — пока не пробовала.

© Павленко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сани	5
Глава 2. Столица	11
Глава 3. Помост	17
Глава 4. Слово	23
Глава 5. Медяк	28
Глава 6. Кисель	34
Глава 7. Невеста	41
Глава 8. Прилетели	48
Глава 9. Прорубь	54
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Григорий Павленко

Живой мертвец

Глава 1. Сани

Сани у них украли на второй день пути.

Не в первый — в первый день, видимо, было нельзя. В первый день обоз куратора Совета выезжал из-под горы при двух гербах, при напутственной строфе каменного стража и при стольких провожающих взглядах, что красть у него было бы всё равно что красть с помоста на ярмарке. А вот на второй, на постоялом дворе с гордым именем «Тихий угол», где оба возка при гербах стояли в темноте у крыльца, а сани с довольствием — под навесом у конюшни, воровская жизнь тракта взяла своё.

Айра узнала об этом так, как узнают о любой беде в дороге: по крику. Кричали громко — с расчётом, что беда устыдится и вернёт всё на место.

— Сани! — орал во дворе старший возчик. — Сани где?!

Сани были нигде. Это она поняла ещё с лестницы, по особой пустоте в голосе. Так кричат не «куда поставили», так кричат «всё».

Двор встретил её холодом до слёз, запахом конюшни, дыма и навоза — и толпой из четырёх человек вокруг пустого места под навесом. Пустое место было красноречивое: примятый снег, клочок сена, обрезанный гуж. Крайним стоял хозяин двора — в накинутах тулупе поверх исподнего, с полотенцем через плечо, забытым с вечера, — и держал оборону:

— Двор у меня честный! Пятнадцать лет двор держу — при мне гвоздя не пропадало! Это не двор. Это тракт.

— А тракт чей? — мрачно спросил старший.

— А тракт ничей. На то и тракт.

Логика была крепкая, как здешний забор, — то есть с дырой у дальнего угла, куда и уходил санный след.

Айра прошла вдоль следа, пока мужчины делили вину. Шла она скучно, руки в рукава, лицом изображая, что ей просто не стоит на месте с мороза, — а глаза работали. Глазам с утра ещё не объяснили, что их хозяйка теперь адептка. Глаза жили как жили.

След читался, как читается крупная вывеска.

Полозья ушли не на тракт — на просёлок, к лесу. Гружёные ушли: борозда глубокая, с чётким краем. Лошадь вели в поводу, и вели скверно — она дважды рыкнула, её дважды дёргали. У навеса натоптано двумя парами ног: одни сапоги с подковкой на каблуке, вторые — валенки, подшитые кожей, левый след глубже, человек припадал на правую ногу или просто нёс всё тяжёлое на левом плече. Гуж не развязали — обрезали, хотя узел был дорожный, простой, его развязал бы и ребёнок. У столба ворот — свежая щепка: зацепили полозом, вписываясь в проём, через который до них как-то проезжали все.

А у конуры, натянув цепь до звона, сидел здоровенный лохматый пёс и смотрел на всех честнейшими глазами. Перед ним лежал мосол размером с его совесть. Мосол был не отсюда: кость свежая, рубленая, с мясным краем — такими на постоялых дворах не разбрасываются.

Вот и вся стоимость твоей службы, приятель. Один мосол. Даже торговаться не пришлось.

Пёс поймал её взгляд и на всякий случай лёг на кость целиком.

Можно было нырнуть, посмотреть по-своему: глубже снега не врёт никто. Айра себе отказала — двор чужой, на крыльце куратор Совета, а нырять при зрителях значит расписаться на воротах. Работаем глазами, как до академии.

Дальше двор читался одним словом, и слово выходило обидное: любители. Она убрала его подальше: случая не будет.

На крыльце, застёгнутый на всё и невозмутимый, как утренний мороз, стоял куратор Никандр Валь-Т. След он оглядел раньше — теперь смотрел на людей, и понять по нему можно было одно: ему всё понятно. Куратор Совета. Столица — в дне дороги. Первокурсница, читающая санный след, как приказчик — накладную, была бы сейчас самой заметной вещью на этом дворе.

Айра сгорбилась, спрятала нос в воротник и вернулась к крыльцу: прогулялась, замёрзла, ничего не поняла.

Ректор вышел во двор последним — одетый, собранный, со своей всегдашней манерой поспевать к развязке и стоять так, будто именно её он и планировал. Оглядел навес. Оглядел след. Оглядел хозяина, на котором полотенце висело уже как приговор.

— Ларец на месте. Довольствие — нет. У здешних воров здоровые представления о ценностях.

— Ваша милость! — Хозяин прижал руки к груди, отчего полотенце соскользнуло, и он подхватил его на лету, как знамя. — Пятнадцать лет! Да чтоб у меня... Да у меня сроду...

— Пятнадцать лет, — подсказал ректор. — Вы говорили. Дважды.

— Это не наши! — Хозяин наконец нашёл виноватых и воспрянул. — Это, ваша милость, они. Благородные.

Пауза случилась общая. Даже пёс перестал грызть.

— Кто? — спросил ректор.

— Благородные бандиты. — Хозяин выговорил это с почтением, с каким в приличных домах поминают покойных родственников. — Они у нас по тракту с осени. Артель такая. Грабят, стало быть, богатых, чтобы потом грабить бедных.

Двор задумался.

— Чтобы — что? — уточнил Никандр вежливо.

— Ну а как же. — Хозяин поглядел на него с жалостью и взялся объяснять устройство мира. — Сперва богатых. А после уж, значит, и до бедных черёд дойдёт. Всё по порядку, всё по справедливости. Благородные ж люди.

Не смейся. Ты адептка Сол, ты едешь на суд, тебе смеяться нельзя. Улыбаться тоже. Стой скучно.

Стоять скучно было трудно. Никандр помолчал — чуть дольше, чем требовала вежливость: она почти слышала, как у него внутри это переворачивается с боку на бок.

— Стройная мысль, — признал он. — В Совете за такую формулировку платят жалованье.

— Во-от! — обрадовался хозяин. — И я говорю: люди с понятием. Абы кого они не трогают. Вон, третьего дня у мельника ничего не взяли. Побрезговали. А у вас — сани! Цельные сани! — Он повёл рукой, и гордости в этом жесте было не спрятать. — Это, стало быть, оценили. Это уважение.

— Нас ограбили из уважения, — повторил ректор. — Буду знать, что ответить Совету, когда спросят, куда делся овёс.

Старший всё это время стоял над обрезанным гужом и мял шапку. Старшим он был над обозом — с утра на треть меньшим, — считая племянника и лошадей, и звание нёс, как герб. Его Айра узнала ещё при погрузке — тот самый, что вёз её из города на гору и высадил за сто шагов до ворот: учёная боязнь стихов. Вчерашнюю напутственную строфу он переживал за собственной лошадей — лошадь, тоже учёная, переживала за ним. По лицу его ходили большие мысли. Наконец они сложились:

— Я ж говорил, — горько подытожил он. — Колёса надо ставить. Каждую зиму говорю. Были б колёса — они б час с полозьями возились, перекладывали. А сани что. Сани сами едут. Сани красть — одно удовольствие, я б сам крал.

— Себе скажи спасибо, что не начал, — отозвался хозяин, и они заспорили о преступной лёгкости полозьев вообще.

Айра составляла у крыльца собственный счёт этому утру. Убыток: сани, чалая и весь прокорм с хозяйством. Прибыток: легенда о благородных людях в масках — и мосол псу. Разница выходила не в их пользу, но с какой стороны посмотреть: за легенду в столице, пожалуй, дали бы дороже, чем за овёс.

Ректор подошёл и встал рядом — так, что между ними остался локоть, а чужие остались снаружи.

— Если вам интересно мнение оценщика, — начала Айра вполголоса, — то работали двое. В первый раз. Ушли в просёлок, шагом. К полудню можно догнать пешком, к обеду — вернуть сани и двух дураков в придачу.

— Мнение оценщика мне интересно всегда. Можно и догнать. Ещё можно опоздать на суд, объясняя местному старосте, откуда у adeptки первого курса такие познания в санном следе.

— Я и говорю. — Айра посмотрела на просёлок. Просёлок лежал белый, наглый и совершенно читаемый. — Дёшево уходят.

— Запишите в убытки зимы. — Это он договорил уже на ходу, отворачиваясь к возкам. — Строка всё равно длинная.

* * *

Обоз тронулся через час — без саней, без чалой и без завтрака, о чём промолчали все — настолько громко, что лошади прядали ушами.

Довольствие они потеряли целиком, и в этом была своя красота. Айра успела посмотреть, как его грузили под гору: по накладной, по счёту, мешок к мешку. Человек из хозяйственной части академии пересчитал всё трижды и добился, чтобы сошлось. Оно и сошлось. И уехало в просёлок — всё разом, до последней учтённой свечки. Первый раз в её жизни учёт сработал безупречно: теперь было в точности известно, чего именно у них больше нет.

Ехали все в одном возке — второй с утра хромал на левый полоз, — и утрату Никандр переносил по-своему. Он перечислял.

— Овса четыре мешка, — говорил он в пространство, глядя на зимние поля. — Муки два. Сала пуд. Свечей три связки. Котёл. Топор. Верёвка смоленая, новая... — Он прикрыл глаза, сверяясь с чем-то внутри. — И утварь по мелочи.

К перу он не потянулся ни разу. Перо у него было — торчало из дорожного прибора, очиненное, праздное, — но куратор диктовал воздуху, и воздух, надо полагать, записывал. Выходило образцово: первый на её памяти документ, который существовал целиком устно — и всё равно был нуднее покойника.

— Утварь, — повторила Айра.

— Утварь, — подтвердил куратор.

— И куда нам было столько? Дороги три дня.

— На артель и дурную погоду. Меньше хозяйственная часть выдавать не умеет.

Она посмотрела на свои колени. На коленях у неё лежал «Свод описаний утвари», часть первая, — том, выданный Вереном в дорогу как то, что не жалко, если промокнет. Из мешка Тай она выудила его ещё вчера, а завязку перевязала сама — узел, что скрывать, держал хуже. Сто девять страниц одного только предисловия о пользе правильных названий. Вся утварь обоза уехала в просёлок — остались одни описания.

Верен, ты был прав. Успокаивает.

Есть хотелось со вчерашнего вечера, а всерьёз — с той минуты, как их завтрак стал чужой добычей. На втором часу дороги Айра наконец сделала то, что полагалось сделать сразу: вытащила из-под ног мешок Тай.

Мешок был тёртый, дорожный, из невозмутимых. Тай собирала его сама, с наставлениями каждому свёртку.

Сухари. Сало — шматом, в тряпице. Соль в берестянке, лук. Огниво с трутом и сушёные яблоки от Тевра — упаковано по-хозяйски. Две свечи. Айра выкладывала это на тряпицу. В возке стало тихо. Смотрели на сало.

— Куда столько на три дня? — вернул вопрос Никандр.

— Так объявила соседка: запас — на три дня и одну осаду.

— Какую именно?

Айра пожала плечами:

— Благородную, я думаю.

Осада пришла на второй день. В валенках и с мосолом.

— Запасливее хозяйственной части, — заметил куратор.

— Моя соседка не верит еде, которую считал человек, который с ней не едет. До сегодняшнего утра я думала, что это причуда.

Резала она на томе Верена — поверх тряпицы, разумеется, но всё-таки на томе: другой твёрдой и гладкой поверхности в возке не нашлось. Так книга об утвари впервые в жизни поработала утварью. Верену об этом знать было не обязательно. Список того, о чём она никому не расскажет, пополнился и закрылся.

Сало легло на сухари, лук — на сало. Первым получил ректор — потому что сидел напротив и потому что так было надо. Принял он это как принимал всё, с достоинством человека, которому случалось обедать и хуже, — и лук взял тоже. Лук. Айра молча записала это в достижения зимы. Куратор от своей доли отказался было — вежливо, как хирург, — поймал взгляд Айры, оценил перспективы и взял. Возикам передали на облучок. Оттуда донеслось сперва недоверчивое молчание, потом прочувствованное мычание, и лишь потом — спасибо.

А в сердцевине мешка, между свечами, лежал тугой отдельный узелок.

Корица.

«Не открывай до второго дня», — велела Тай. Что делать во второй — она тоже сказала.

Шёл второй день. День-в-день.

Айра развязала узелок — над возком, над салом и сухарями, над всей их ограбленной процессией поплыл рыжий тёплый запах, которому здесь было совершенно нечего делать, — и понюхала, как велено. Мороз против корицы не мог ничего — проверено было ещё в академии, тёплой комнатой, кружкой в чужих руках.

Больше ничего делать было не надо. Она и не делала. Сидела с узелком в ладонях, смотрела на зимние поля и дышала.

— Пахнет, — с уважением донеслось с облучка.

— Это со мной. — Айра завязала узелок — до третьего дня. Про третий день у Тай указаний не было, но у запасливых людей всё делится на разы.

* * *

К полднику, у корчмы на развилке, выяснилось, что легенда едет быстрее обоза.

Корчма была из тех, что кормят весь тракт и знают всё раньше всех. Пирог со вчерашней требухой там продавала женщина с голосом глашатая и памятью летописца, и пока обоз брал горячего, она успела дважды пересказать соседям свежайшую новость: нынче ночью на

«Тихом углу» благородные бандиты взяли обоз Совета. Сведения были верные — от мельника работника, а тот врать не станет: заикается.

Выходило красиво. Их была дюжина, в масках, при атамане — атамана звали не то Ворон, не то Ворона, тут летопись расходилась, — и на вороних конях. Стражу они связали шёлковым шнуром. Шёлковое, говорят, было и обращение. Из награбленного тут же, не отходя, одарили погорельца — а погорелец на радостях запил, оттого его никто и не видел. Атаман же оставил на воротах грамоту с печатью: не сердчайте, люди добрые, всё по справедливости — сперва богатые, после бедные, никого не обойдём.

— Всех, — со значением повторила корчмарка, — никого не обойдут. Люди с понятием.

Шёлковый шнур Айра оценила по-скупщицки: одна закладка такого стоила дороже всего их овса. Вложили больше, чем взяли.

Обоз Совета — тот самый, ограбленный, — стоял в это время посреди корчмы и ел пироги. Узнал он не был: в легенде обоз давно уехал, весь в шелках и слезах благодарности. Корчмарка оглядела их казённые тулупы, вздохнула и подвинула ректору тарелку с надтреснутыми пирогами, что шли мимо цены:

— Кушайте, служивые. Вам по тракту ещё ехать, а там нынче — сами слышали.

— Будем осторожны, — не моргнув, отозвался ректор.

— А маски у них, говорят, шёлковые! — восхищённо влез молодой возчик, забыв, чей овёс уехал. Старший посмотрел на племянника долго, как на сани.

Айра прожевала пирог.

Дюжина. На вороних. С грамотой. А было: двое, наша чалая и мосол. Раста, легенда — за ночь поднялась шестеро, к столице будешь с гору.

Старший, наслушавшись всего этого — и корчмарки, и родного племянника, — побагровел и открыл было рот: восстановить истину, в которой ему принадлежала лучшая роль пострадавшего. Но Никандр, не поворачивая головы, уронил:

— Не надо.

— Дак ведь врёт же!

— Врёт, — согласился куратор. — Складно, бесплатно и в нашу пользу: обоз, который ограбила дюжина конных, ехал с достойной охраной. Обоз, который обнесли двое пеших, вопросов вызывает больше. — Он аккуратно доел пирог. — Пусть рассказывают.

Старший подумал, крикнул и купил ещё пирога — за счёт душевной раны.

На выезде он отвёл душу: сообщил верстовому столбу, что кабы не сани, а телега, ничего бы этого не было. Столб выслушал. Остался доволен и старший: первый за день собеседник, который не перебивал и не спорил.

* * *

Ночевать им было нельзя — это стало ясно ещё засветло: утро съели воры, а суд не переносят из-за овса.

— Ночевать-то где? — не выдержал на развилке старший.

— В столице, — ответил Никандр.

Так и поехали в ночь.

Ночь на тракте оказалась делом торжественным. Мороз к темноте отвердел, снег закрипел ниже и строже, у лошадей выросли седые усы. Небо вызвездило так щедро, будто у кого-то там, наверху, этой ночью тоже всё сошлось. Обочины стали одинаковые, повороты — редкие, и Айра считала их, чтобы держать в голове дорогу: привычка тут была лишняя, но привычки не спрашивают, полезны ли они, — они просто приходят на службу.

Хромоту второго возка к вечеру починили — в четыре руки и в шесть советов, — пустили его в поводу за первым, и Никандр перебрался туда выспаться. Напротив, привалившись к

стенке, дремал племянник, взятый в дорогу «смотреть и учиться»: к ночи смотреть у него получалось только с закрытыми глазами. В возке пахло сеном, овчиной и чуть-чуть — корицей: узелок ехал в мешке, но такие вещи не сдаются.

Ректор не спал. Он сидел рядом, прямой даже в дорожной полости, и смотрел в темноту со своим обычным выражением — будто темнота подала прошение и он его рассматривает. Лица его было не видно, только профиль против снега.

Говорить не хотелось. Вернее — не требовалось: за день всё нужное было сказано. Полозья поскрипывали. Повороты шли редко.

Третий. Четвёртый.

На пятом счёт разъехался, и она решила, что пересчитает с утра.

Разбудила её остановка — дорога встала.

Стояли на гребне — лошади отдыхали перед спуском, пар над ними висел белым кустом. Небо на востоке уже пошло серым и розовым по краю. Щекой Айра лежала на сукне — плотном, дорожном, чужом. Сукно поднималось и опускалось. Под сукном было плечо.

Она села — медленно, будто так и сидела всю дорогу. Племянник спал как спал. Плечо её манёвра не заметило. Хозяин плеча смотрел вперёд, на спуск, и был безупречен, как человек, всю ночь просидевший неподвижно по собственным соображениям, никак не связанным с тем, что у него на плече спали.

Рука у него, между прочим, была под полостью только одна. Вторая лежала поверх, на краю, — там, где полость сползала бы. Если бы сползала.

— Вы считали вслух, — сообщил ректор, не оборачиваясь. — Во сне.

— И до скольких досчитала?

— До семи. — Пауза перед словом никуда не делась, вся её длина. — Дальше вы сбились. Я не стал поправлять.

До семи. Ну разумеется. Куда мне дальше семи — у нас всё лучшее в жизни назначено на семь.

Вслух вышло другое:

— Правильно, что не стали. Я бы пересчитывать не поднялась.

Внизу, в утренней дымке, лежала столица.

Столицу Айра видела впервые, и первое, что подумалось, было: сколько же там печей. Город начинался от реки и шёл во все стороны, покуда хватало глаз, серый, каменный, в тысяче дымов, и все дымы стояли прямо, как свечи в лавке, — мороз держал их за горло. Где-то в этой тысяче дымов был зал Совета. Где-то — суд, вторая половина их зимы: первую они везли с собой, в окованном ларце.

Пока перестраивались перед спуском, к их возку подошёл Никандр — свежий, будто ночевал на перине. Поглядел на столицу, потом на Айру — взглядом вежливым и точным, как всё у него.

— Тот двор, — он качнул головой назад, на тракт, — вы вчера прочли быстрее, чем хозяин сосчитал убытки. Для тракта умение уместное: место простое, здесь читают следы. — Теперь он кивнул вперёд, на город, и голос у него не поменялся вовсе. — Столица — место сложное. Здесь читают тех, кто читает. Добро пожаловать, адептка.

И пошёл ко второму возку — тот и стоя скрипел всем казённым.

Обоз тронулся под гору. Айра смотрела на тысячу прямых дымов и грела ладони под полостью.

Понятно, — ответила она городу. — Значит, будем скучными. Ты не смотри, что обоз ограбленный. Нас, говорят, обнесли из уважения.

Город промолчал. Города вообще отвечают только тем, кто может заплатить за ответ, — но это она и так знала.

Столица росла навстречу.

Глава 2. Столица

Столица начиналась с очереди.

Очередь стояла к воротам — возы, сани, крытые повозки, пеший люд с коробами — и было её столько, что хвост терялся за поворотом дороги, а голова жила своей жизнью: там что-то проверяли, ставили, разворачивали и пускали. Обоз встал в хвост, как все. Гербы на возках действовали так, как действуют гербы на очередь, которая видала всякие: передний воз с горшками подвинулся на ладонь, и это было всё уважение.

К воротам Никандр перебрался в головной возок, поближе к собственным бумагам.

— По подорожной пойдём, — сообщил он, ни к кому в отдельности. — Час, не больше.

Час, не больше, растянулся на два. Айра не возражала: она смотрела.

Город лежал за стеной и был слышен раньше, чем виден, — сплошной низкий гул, как от очень большого улья, в котором никто не спит и все ругаются. Над стеной стояли крыши, над крышами — дымы, а надо всем, далеко, серело что-то высокое и плоское, на что она старалась не смотреть. Пахло по-городскому, всерьёз: дымом, рыбой, конюшной, мокрым камнем — всем сразу, слоями, как пахнут только очень большие деньги и очень большая теснота.

Ним, записывай. Ворота — одни, очередь — одна, взятки не берут: я бы уже увидела. Очень расточительно.

В очереди тем временем работала легенда.

— ...обоз-то Советов, — вполголоса делился задний возчик с передним, кивая на гербы. — Тот самый. Который на тракте благородные обнесли. Слыхал? Уже не дюжина, говорят, — войско. Атаман в маске, под ним конь вороной, а сани взяли — с золотом.

— С каким золотом? — усомнился передний.

— С казённым. Какое ещё у Совета золото.

Айра прикинула, что было в саних казённого золота: овёс, мука и пуд сала. Поправлять не стала. Себе дороже.

Сочувствовали им, впрочем, искренне. Обозу, который обнесло целое войско, в очереди уступали как раненому: без слов и с уважением. Стража на воротах оглядела подорожную, потом гербы, потом Никандра.

— Это вас, стало быть? — Стражник не уточнил, что «вас», и так было ясно. — По тракту нынче лихо. И это... — Он замялся, борясь со служебным положением, и служебное положение проиграло: — Атамана-то видали?

— Только сани, — ответил Никандр. — Со спины.

Стражник унёс это в караулку — было слышно, как там немедленно начали делить услышанное, — а вернувшись, сверил подорожную ещё раз, по-служебному.

— Возков — два, — прочёл он.

— Два, — подтвердил Никандр и обернулся.

Возок был один.

Второй, шедший в поводу последним, стоял всю очередь у них за спиной — пустой, никому не нужный, привязанный. За ним не смотрел никто: чего с ним станется. Сталось. Позади осталось пустое место и обрезанный повод. Гуж на тракте резали ночью, в темноте, с оглядкой. Повод отрезали днём, в очереди, на глазах у полусотни человек, из которых ни один ничего не видел.

Вот это икола, — признала Айра. — Мы ещё в город не вошли, а город с нас уже взял.

— Дядь, — прошептал племянник, бледнея от восторга. — А может, это тоже они? Благородные. Доехали.

Старший не ответил. Старший смотрел на обрезанный повод, и по лицу его шло понимание, что столица — это не место, а способ.

— Благородные, — выговорил он наконец страшным голосом, — на тракте работают. С понятием, с грамотой. А тут середь бела дня отрезали, как кошелёк. — Он обвёл вожжами очередь, ворота и весь порядок вещей. — Тут просто украли.

Даже не соврали ничего. Столица не тратила на них воображения.

— Бывает, — посочувствовал стражник, возвращая подорожную. — У нас, почитай, всё бывает. Столица. Искать-то будете?

— Возок казённый, — отозвался Никандр. — Совета не убудет. Убудет того, кто попробует на нём ездить: он скрипит на весь квартал и чинен так, что об этом знают шесть человек. Найдётся раньше, чем понадобится. — И добавил, уже без выражения: — Опись поместится в одну строку. Диктовать почти нечего.

— Один обоз, — подвёл ректор, — две кражи, три дня. Совет ещё спросит, зачем мы вообще выезжали, раз всё можно было отдать ближе к дому.

Стражник посмотрел на них с уважением, к которому теперь примешивалось что-то родственное, и махнул: проезжайте. Обоз — теперь в один возок, короче некуда — вошёл под арку. Под аркой было холодно и гулко, полозья простучали по наледи, и с той стороны город ударил разом: светом, гулом и запахом.

Столица оказалась больше, чем она думала, и это при том, что думала она с запасом. И работала быстрее.

* * *

Улицы шли одна из другой, как ящики из хитрого сундука: открываешь большой — внутри три поменьше, и в каждом ещё, и всё полно. Ряды тянулись вдоль мостовой сплошняком — сукно, жёсть, свечи, сельдь, пряности, опять сукно, — и у каждого лотка стоял хозяин и не мёрз: наторговал на дрова. Народу было столько, что толпа не расступалась, а перетекала, и возок полз в ней шагом, как ложка в густом меду.

Через реку шёл мост — каменный, горбатый, в два веза шириной, с лавками прямо на мосту: место было слишком дорогое, чтобы просто по нему ходить. Подо льдом внизу угадывалась вода, а на льду — протоптанная наискось тропа. Мост мостом, а ходят понизу. Это она поняла без перевода.

Стража здесь ходила парами и никуда не спешила. Айра проводила глазами одну такую пару, потом вторую и записала в столичные приметы: сытая стража — самая дорогая. Значит, всё, что можно было украсть, в этом городе давно украдено, поделено и переписано на почтенных людей, а работать по мелочи остаются гости да новички. Гостей встречали на тракте. Новичков, надо думать, здесь же и провожали.

Айра сидела у окошка и работала.

Считала она честно, как велено. Мостовая — камень тёсанный, какого в нижнем городе на весь квартал не набрать, а тут им выложены улицы, и полозья по нему не шли — орали. Ряды пахли по очереди: сукном, жёстью, свечным салом, сельдью, пряником. Фонари стояли целые, все до одного: не потому, что некому, а потому, что незачем. Замки на лавках висели богатые, кованые, с секретом, — и висели снаружи, напоказ, как серьги. Замок с секретом снаружи — это не замок, это вывеска: «у нас есть что красть». У нас бы такой провисел до темноты. Его же и украли бы в первую очередь, кстати. Вещица-то, дорогая.

Сами вывески писали с позолотой по краю: столица настолько верила в грамотных, что тратила на буквы золото. В нижнем городе буквы рисовали углём, и то не всякому — кому надо, тот и так знал.

Ним, записывай дальше. Недостача тут не больше нашей. Тут она просто нарядней одета.

Племянник, которого утренняя кража освободила от последних обязанностей, сидел на облучке рядом со старшим и крутил головой так, что тот дважды поймал его за ворот — чтобы не выпал в столицу целиком. На третий раз ловить не стал: понял, что это надолго.

— Столица? — спросил ректор. Он смотрел не в окошко — на неё. Никандр напротив листал что-то своё, не слушая.

— Витрина, — честно ответила Айра. — Всё видно, всё нельзя.

— Привыкайте. Завтра в этой витрине выставят и нас. — Он подумал и уточнил: — Постарайтесь смотреться скучно.

— Я — сама невзрачность, в потёртой упаковке.

Ректор осмыслил это со своей всегдашней задержкой в такт — и возражать не стал. Нечем.

Прицениваться к нему самому она давно бросила. Пробовала: всякий раз выходило, что таких денег нет ни у кого, — и оценщик внутри неё обижался и требовал перемерить.

Пальцы грелись в руках и просились работать. Она им отказывала — привычно, как отказывают детям в лавке сластей: не сегодня, и не завтра, и вообще мы сюда не за этим. Город был — витрина: смотреть можно, дышать на стекло можно, а трогать нельзя, и нырять нельзя тем более — под стеклом сидел Совет, а Совет как раз собирал тех, кто смотрит по-своему.

Быть скучной оказалось отдельной работой. Скучной — это когда не смотришь на карманы. Она не смотрела. Карманы, как назло, шли навстречу один другого слаще: расстёгнутые, оттопыренные, наивные, — столица носила деньги так, будто их у всех много, и ведь правда много.

Не сегодня, господа. Стойте спокойно: я человек приличный. Почти привыкла.

У площади, где обоз встал — Никандру надлежало отметить в книге прибытий, а та, по его словам, не ждала, — очередей оказалось сразу три, и все три были не чета воротной.

Воротная очередь хотя бы двигалась. Эти — стояли. Стояли основательно, обжито, со скамеечками, с жаровней на десятерых, с собственным мальчишкой, который бегал за горячим. Очередь у левых дверей стояла за прошениями, у правых — за ответами на прошения, а середина, самая длинная, как выяснилось, стояла записаться в одну из двух первых.

И среди них работал человек.

Он стоял в левой очереди — прямой, степенный, в добротном тулупе. Никуда не торопился: торопиться было не его работой. Время от времени к нему подходили, коротко говорили, он кивал — и очередь его прирастала ещё одним невидимым человеком. Потом пришёл толстый господин в бобровой шапке, сунул ему монету, встал на его место — а он перешёл в правую очередь и встал там с тем же лицом.

Айра засмотрелась, как смотрят на чужую чистую работу.

— Стоялец? — спросила она, когда он оказался рядом с их возком: правая очередь изгибалась вдоль коновязи.

— Стояльщик, — поправил он с достоинством, с каким поправляют чин. — Стоялец — это который стоит и не тает. Нежить, тьфу. А я стою за других. За деньги.

— И как стоится?

— Стоится справно. — Он оглядел её, определил приезжую и смягчился до разъяснений: — Место в очереди — оно ведь как земля. Его застолбить надо, удержать надо, передать надо в хорошие руки. Абы кто не удержит: тут наука. Я вот, к примеру, три места разом держу.

— Как это — разом?

— Ногами, — объяснил стояльщик. — Одно стою, два помню. Меня и очередь помнит: я тут тридцать лет стою. Отца даже похоронил, тут, в очереди. Меня три ведомства в лицо знают. Один письмоводитель при мне вырос, выучился, состарился и помер, — а я всё стою. — Он помолчал — и без хвастовства, как о погоде, прибавил: — Мимо меня прошло больше прошений, чем через любую из этих дверей.

Тридцать лет стоять на одном месте — и чтобы место тебя кормило. Есть чему поучиться. Я пока не поняла, чему.

— А сами вы что-нибудь подавали? — спросила Айра. — За тридцать-то лет.

Стояльщик поглядел на неё озадаченно, как мастер, которого спросили, не шьёт ли он себе.

— Мне-то зачем? — Он пожал плечами. — У меня всё есть.

Всё есть — ишь ты. Первый богач столицы стоял в тулупе, в очереди, и никуда с этого места не собирался.

Тут в левой очереди стало громко. Тётка с корзиной, из которой торчал гусь, наступала на мелкого чиновного человечка. Человечек держался за портфель, как за поручень.

— Не стояло вас тут! — гремела тётка. — Я за бабкой с горшками занимала, а бабка за слепеньким, а этого, — гусь качнулся в сторону человечка, как обвинение, — этого не стояло!

— Я отходил! — пищал человечек. — Я по нужде отходил, это законно!..

Очередь заволновалась и разделилась. Дело шло к разбирательству лет на пять, но тут кто-то крикнул: «Стояльщик! Стояльщик!», — и обе стороны, не сговариваясь, повернулись к стояльщику.

Стояльщик даже не обернулся.

— Стоял. За бабкой. Отходил на два прошения, вернулся по праву. Гусыню вашу видел третьей, и она с тех пор не хорошела.

Очередь выдохнула и срослась. Тётка отступила без единого слова — с приговором не спорят, — только переложила гуся с руки на руку, как переоценённый товар. Человечек прижал портфель к груди и посмотрел на стояльщика так, как в храмах не на всякую икону смотрят.

Вот тебе и суд. Завтрашнему есть куда расти.

Потом его окликнули из левой очереди — место созрело, — и он ушёл, степенно, не прощаясь: рабочий день.

Никандр вернулся уже в сумерках — своё прибытие он книге продиктовал, очередь есть очередь — и проводил её взгляд.

— Столичное учреждение, — сообщил он, усаживаясь. — Старше половины нынешнего Совета.

Обоз тронулся. Обозом он теперь назывался из вежливости.

Уже на ходу обнаружилось, что в карманах у неё каким-то образом лежат два чужих кошелька. Когда, где — она не знала, и это было честно: она весь день не смотрела на карманы. На свои, выходит, тоже. Претензий к рукам она решила не иметь — приказ был «не смотреть», про руки в приказе не было ни слова, — а думать об этом она себе запретила. В суд следовало приехать человеком с чистыми мыслями. Хотя бы мыслями.

Серое и плоское, на что она старалась не смотреть, придвинулось и стало зданием — длинным, глухим, без единой лавки вдоль стены и без единого фонаря, потому что рядом с ним никто не торговал и не гулял. Зал Совета не давил. Он просто был, как бывает погода. Айра посмотрела на него честно, по-приезжему, снизу вверх — и глазам, которые весь день просились к делу, работать расхотелось. Пальцы в руках впервые за день лежали смирно — не по её приказу.

Вот и славно, — велела она им. — Вот и не надо.

* * *

Подворье им отвели казённое, при ведомстве, — двор колодцем, коновязь, крыльцо под фонарём. У коновязи стояли чьи-то сани, чужая пегая жевала сено и на въехавших не поглядела: навидалась.

На крыльцо вышел хозяин подворья — сухой, немолодой, с фонарём — и осветил им сначала лица, потом возок, потом коновязь за возком. Поискал фонарём продолжения. Продолжения не было.

— Сказывали, возка будет два, — сообщил он.

— Было два, — согласился Никандр. — Второй остался в очереди.

Хозяин поднял фонарь и оглядел их ещё раз, с новым вниманием: гости въехали в столицу утром — и уже налегке.

— Шустрый у вас город, — мрачно сказал старший с облучка.

— Шустрый, — согласился хозяин, не без гордости.

Распрягал старший сам, никого не подпуская, и вожжи снял с себя последними. Было ясно: остатний возок у него отберут только с руками.

Вещи перетаскали в одну ходку — после двух краж поклажа стала подъёмной. Мешок Тай, полегчавший, но живой, Айра унесла в комнату сама и поставила у изголовья. Вмятины от кота на мешке не было и не предвиделось — и мешок от этого выглядел неохраняемым. Пришлось охранять самой.

Ужинали внизу, в общей зале, где топили щедро, а кормили казённо: щи оказались как у Павы в трактире, только жиже втрое и дороже вчетверо. Айра доела молча: за такие деньги молчат и едят.

— В столице, стало быть, и вода с наценкой, — объявил старший над миской, ни к кому и ко всем, и потребовал у подавальщика резать хлеб как хлеб, а не как бумагу.

Хлеба принесли. Резан он был так, что сквозь ломоть можно было читать.

— Это не хлеб, — определил старший. — Это к хлебу.

Выручил мешок: сало выданное Тай пошло по рукам, легло на столичные ломти как своё на чужое и примирило всех со всем. Племянник ел и оглядывался, как в храме. Ректор с Никандром ужинали над бумагами, поделив стол молча и поровну. В бумаги Айра не смотрела.

Комната была казённая, чистая, с одной свечой и окном во двор. За окном столица укладывалась спать — не так, как академия, и не так, как нижний город: без переключек, без колодезных споров, сытым устоявшимся гулом, который не затихал, а просто густел. Айра посидела у окна, привыкая. Где-то в этом гуле сейчас катился их возок — скрипучий, с гербом Совета на дверце. Кто-то очень смелый ездил по столице под гербом Совета. Она пожелала ему удачи: скрип выдаст его раньше герба.

Перед сном мысль, отпущенная на волю, сходила, куда хотела: в лекарскую, на широкий холодный подоконник, где стояла чашка. Обычная, из столовой, пустая. Стоит, поди, и сейчас — снег за стеклом, лампа вполсилы, Серак спит, грелка в ногах. Этажом выше спит Тай — или не спит, а учит одеяло лежать гордо. Кому надо — увидит чашку. Тому и двери не нужны.

Дела идут, не жалуясь, — доложила она чашке через полстраны. — Завтра суд. Ты там как хочешь, а я буду скучная.

Чашка не возразила. У них это считалось согласием.

Айра уже задула свечу, когда в дверь стукнули — раз, коротко, по-деловому. За дверью, со свечой, стоял Никандр — одетый не по-вечернему: собран, как днём.

— Завтра, — начал он без предисловий. — Зал будет полный. Говорить будут долго. Про вас — тоже, вы это знаете. — Свеча у него не дрожала. — Совет вам ничего не сделает: не за что и незачем, ваши бумаги чище моих. Просто помните: тракт кончился. — Он уже поворачивался, когда добавил голосом, каким перечислял мешки: — Не читайте там. Даже вывески.

Шаги его ушли по коридору — мерные, как перечисление.

Заверять даром в этом городе не станет никто — это она уже выучила за день. Значит, счёт придёт позже. Айра записала его в долги зимы: строка всё равно длинная.

Она закрыла дверь и легла. Потолок над ней был белёный, гладкий, без единой трещины — читать на нём было нечего, и это, пожалуй, было к лучшему.

Страх пришёл, как положено, к ночи — и она указала ему на место: у него теперь было у кого поучиться стоять.

Уснула она сразу — наука улицы: перед большим делом сон важнее.

Страх подождёт в очереди.

Утром украли последний возок.

Глава 3. Помост

Крик она бы проспала: к крикам за эту дорогу все привыкли. Разбудила её тишина.

Тишина стояла во дворе — особенная, людная. Так молчат несколько человек разом, когда каждый ждёт, что скажет другой, а сказать нечего никому. Айра оделась быстрее, чем проснулась, — улица приучила — и вышла на крыльцо.

Двор был на месте. Колодец, коновязь, чужая пегая у яслей. Их лошадь делила с пегой ясли и жевала сено с честным утренним усердием. А там, где с вечера темнел последний возок, лежал утоптаный снег — и больше не лежало ничего.

Старший навис над этим местом с упряжью в руках. Упряжь он снял с гвоздя, надо думать, раньше, чем понял зачем. Он не кричал. Он даже не ругался — а по нему было видно, как дорого ему это обходится.

— Я же в нём ночевать просился, — выговорил он наконец, ни к кому. — С вечера просился. Не дозволили. Не положено, говорят, на казённом дворе — двор охраняемый. — Он посмотрел на пустой снег и повторил, взвешивая слово на руке: — Охраняемый.

Хозяин подворья вышел с фонарём, хотя давно рассвело. С фонарём он, видимо, чувствовал себя при исполнении.

— С казённого подворья не крадут, — сообщил он твёрдо.

— А это? — старший качнул упряжью на пустое место.

— Это, стало быть, недоразумение.

— У меня двор с надзором, — прибавил хозяин с достоинством. — Я ночью с фонарём выходил. Дважды.

— А промеж двух раз?

— Промеж — сон. Человек я казённый, спать мне положено по-людски.

Старший ничего на это не ответил: порядок был соблюдён, в соблюдённом порядке возок и уехал. Он повесил упряжь на плечо и посмотрел на их лошадь. Лошадь жевала. Живой её оставили по одной причине, унижительной для всех участников: она никому не понадобилась даром.

— Хоть бы заржала, — попросил старший без надежды.

Лошадь поглядела на него и взяла ещё сена.

Айре хватило двух взглядов. Полозный след уходил к воротам порожней мелкой бороздой, а рядом шёл чужой конский шаг: вор привёл свою лошадь, с упряжью, готовую. Пришёл затемно, впрягся, уехал. Ни следа беготни, ни одной лишней петли по двору.

Учись, тракт. Ни масок, ни атамана, ни грамоты с печатью. Пришёл, запряг, уехал. Столица работает без поэзии — за то и берёт дорожке.

— Дядь, а лошадь-то чего ж не взяли? — Племянник смотрел на пегую и на их гнедую почти с обидой за них.

— Лошадь надо кормить, — объяснил Никандр с крыльца. Он был застёгнут, выбрит и невозмутим, будто третья кража входила в подорожную. — Возок кормить не надо.

Он оглядел двор, пустое место, старшего с упряжью — и продиктовал воздуху, который вёл его описи:

— Возок. Один.

Помолчал и закрыл опись насовсем:

— Описывать больше нечего. Разве что нас.

Ректор вышел последним, по своему обыкновению — к развязке. Оглядел пустое место без удивления: удивление у него, надо полагать, кончилось ещё на втором возке.

— Идём пешком, — решил он. — Это единственный ход, который у нас не уведут.

— Слушание, к слову, ставили на день нашего приезда. — Никандр оглядел двор в последний раз. — Мы приехали на сутки раньше. Единственное, что за эту дорогу у нас прибавилось.

Собрались быстро — после трёх краж сборы делаются короткими. Кошельки — оба, чужие — Айра забрала с собой: оставлять их в комнате на казённом подворье было бы нахальством даже по её меркам. Вдруг и их украдут. А красть краденое — преступление двойное.

Не сегодня, — повторила она вчерашнее, теперь кошелькам. — Сидите тихо. Вернуть вас мне некому, выбросить рука не поднимется — рука у меня в этом вопросе вообще не советчик.

Город с утра пах хлебом и мокрым камнем — ночью, оказывается, было тепло, весна в столице приходила украдкой, как всё здесь. Пешком столица оказалась другой, чем из возка: из возка она была витриной, а пешком стала работой. Мостовая под ногами, а не под полозьями. Толпа не обтекала — толкалась. У лотков пахло горячим, и запах этот был честнее вчерашнего: с утра город ещё не наряжался.

Ряды открывались на глазах. Приказчики сметали с прилавков ночь, мальчишки разносили свежее, водовоз орал своё «па-берегись» с лентой человека, которому уступает уже второе поколение. Город умывался — и, умываясь, был почти симпатичен: без позолоты, в исподнем, со вчерашней вырубкой в зубах.

В толчее у горячего ряда её карман навестила чужая рука. Навестила чисто, между двумя толчками, под прикрытием корзины, — и ушла пустой: в наружных карманах у Айры отродясь не водилось ничего, кроме дырки, а кошельки лежали во внутреннем, у самого сердца, как всё чужое.

Рука была так себе: заход из-под корзины, на выдохе, по прописям. Мысленно Айра уже поправляла чужой хват — по дороге на собственный суд, даром, — и решила, что об этом она тоже думать не будет.

Столица, у меня для тебя новость, — сообщила она городу, не оборачиваясь и не сбившись с шага. — Это уже украдено. Опоздал — стой в очереди.

Никандр шёл впереди — дорогу он знал, как знал украденный овёс: до мешка. Ректор шёл рядом с ней, подстроив шаг, — когда успел, она не поймала, а ловить умела.

— Что считаете? — спросил он, не поворачивая головы.

— Шаги.

— Раньше вы считали деньги.

— Деньги здесь считать нечестно. У города их больше.

Ответил он не сразу. Столица ничего в нём не укоротила.

— Считайте шаги. До зала их меньше, чем кажется.

* * *

Зал Совета начинался, разумеется, с очереди.

Очередь просителей стояла на своём месте, у левых и правых дверей, обжитая и вечная, — заседания заседаниями, а прошения прошениями. Но сегодня поверх неё легла вторая, парадная: к главным дверям тянулись люди в сукне и мехах, и пристав у входа держал в руках список, а лицом — весь порядок мироздания.

— Поименованные — к главным! — повторял он поверх голов. — Прочие лица — в установленном порядке!

Прочие лица стояли, как стояли. Установленный порядок был им известен лучше, чем приставу: они в нём жили.

У стены, чуть в стороне от обеих очередей, обнаружился знакомый тулуп. Стояльщик занимал у стены места немного, но насовсем — и оглядывал парадную очередь с профессиональным сожалением: столько людей, и все стоят сами, вручную.

Её он узнал сразу — поклонился сдержанно, как своему.

— Дошло, выходит, дело.

— А вы же у площади стояли?

— Там нынче подручный. — Он качнул шапкой на главные двери. — Тут работа тоньше. Которые в зале заседают — они ведь тоже люди: у них прошения поданы, ответы подходят. Заседать заседай, а очередь-то идёт. Вот и держу. — Он поглядел на двери зала Совета с понижением старшего родственника. — Все под очередью ходим.

— И как они узнают, что подошло?

— А человек ихний ко мне бегаёт. — Стояльщик произнёс это скромно, как говорят о заслуженном. — По два раза на дню: как, мол, стоит. Я докладываю. У меня не забалуешь: место — оно ведь зреет, его перестоять нельзя. Перестоял — начинай сызнава.

Тут к нему и впрямь подбежал человек в господской ливрее и что-то шепнул.

— Стоит, — ответил стояльщик, не оборачиваясь. — После полудня пусть сам.

Человек убежал с лицом гонца, несущего добрую весть.

Лорды внутри судят лорда. Очереди лордов снаружи стоят под лордом очереди. Ним бы не поверила. Ним бы пересчитала.

Пристав сверил их по списку. На слове «адептка» он поискал глазами кого-то повыше её, сверил её с бумагой, бумагу с ней, остался недоволен обеими — и пропустил.

За дверьми был холод. Камень тут держали строгий, серый, без единой лавки и без единого лишнего гвоздя, — и в этом камне, посреди зала, стоял помост. Новый. Доски были свежие, светлые, и пахло от них стружкой — единственный живой запах на весь зал, и тот стойкий.

— Помост ставили к этому заседанию, — уронил Никандр, проходя. — Заседание созывал Мат: разбирать собирались меня. — Он оправил рукав. — Помост пригодится ему самому.

Мата она нашла сама: второй справа, тяжёлый, широкий. Сукно на нём сидело, как своя кожа, — что дорожное тогда, что вечернее теперь, посадка та же. Зимой, в приёмной, он скользнул по ней взглядом, как считают мебель. Сегодня мебелью считали его.

— На него не смотрите, — Никандр не показал даже подбородком: у него и это выходило без единого лишнего движения. — Смотрите, кто на него не смотрит: это и есть его край. К вечеру они будут не смотреть на него ещё старательнее.

Дальше он ушёл вниз, к столу у помоста, а их с ректором развели: его — вниз, к скамьям домов, её — на галерею, к поименованным.

Галерея шла над залом подковой. Айра села с краю, у колонны, — и уже сидя обнаружила, что во внутреннем кармане стало тесней вчерашнего: кошельков там теперь было четыре. Когда, чьих — она не знала совершенно честно. Очередь была парадная, стояли тесно, на карманы она не смотрела, а рукам, как выяснилось ещё вчера, приказа не было.

Она сложила руки в рукава — от греха — и позволила себе то, что собиралась позволить один раз: посмотрела на зал по-своему.

Как в прорубь.

В академии прорубью был один Кессельроде — пять шагов глухого льда посреди чужих костров. Здесь льдом стоял весь зал. В полукруге сидела старшая кровь, дом к дому, кресло к креслу, и зрение глохло пятнами, как заиндевелое стекло: где посветлее, где вовсе бельмо. Нити не шли. Глаза давило изнутри — слабо, как перед снегопадом. Чарам тут не с чего было начаться.

Ну здравствуй. Смотреть не дашь, стоять заставишь. Ничего. Постойм. Есть у кого учиться.

Она отметила про себя, аккуратно, как убирают на полку: в таких залах её глаза наполовину слепы. Полка была та самая, с которой вещи потом возвращаются сами.

Ректор сидел внизу, среди домов, в самом глухом из пятен. Она видела его просто глазами — как все люди видят всех людей, без второго дна и без подкладки. Непривычно. И, оказалось, достаточно.

Свечей в зале горело — среди белого дня — на месячное писарское жалованье.

Богатые люди. То-то они наш овёс казённым золотом посчитали. По своим меркам мерили.

Заседание началось без торжества — буднично, как открывают лавку. Сухой голос из полукруга назвал дело, писари взяли за перья, и на помост, построенный для него, взошёл Никандр.

Листа он с собой не взял ни одного.

Дело Айра знала наизусть и изнутри — а отсюда, с галереи, оно звучало чужим. Большим, каменным, безлюдным. Не было в нём ни архива с приставной лесенкой, ни лекарской, ни отвара по чашкам — одни события, разложенные в порядке, который не оспоришь. Никандр говорил счётным голосом, каким перечислял украденный овёс, и зал слушал так, как её двор никогда не слушал глашатая: здесь за каждым словом кто-то мысленно платил.

Писари не попевали. Он делал паузы — не для зала, для перьев: человек, всю жизнь диктующий воздуху, с этим воздухом работал бережно, у этого воздуха было три пера.

— Повторите последнее, — попросили от стола писарей.

— Могу всё, — предложил Никандр.

Из полукруга отказались.

Про академию он говорил «сведения академии». Про ночь в архиве — «посторонний задержан присутствовавшими». Ни одного имени сверх нужного. Она слушала, как из дела, у которого были руки, колени и разбитый нос, делают дело, у которого есть только даты. Так было надёжнее для всех, кого он не назвал.

— Совет пожелает выслушать поименованных? — спросили с кресел.

— В свой черёд, — отозвался тот же голос. — Сначала — взятый.

Черёд у Айры был: за тем и везли. Улики этой зимы нашла она — ей их при зале и подтверждать. «Сама повторю всё» — легко было обещать в трёх днях дороги отсюда.

По галерее прошло движение: несколько лиц из полукруга поднялись сюда — не вставая, глазами. Искали, надо думать, поименованных. Айра сидела скучно. Скучнее её на этой галерее была только колонна.

Всю зиму вы, господа, платили за приметы одной девицы. Вот они, сидят перед вами, вход бесплатный. Не узнали — значит, не ваша.

С дальнего края галереи, от колонн, тянуло знакомым — ладаном, тонко и дорого. Айра не повернула головы. День и так выходил расходный.

* * *

Кеониса ввели через нижние двери, при двоих стражи.

Выглядел он как человек, которого четвёртый день держали в порядке: выбрит, причёсан, застёгнут. Стража сдавала товар лицом. Шёл он спокойно, руки за спиной держал привычно, как держат своё, — и у стола писарей задержался на полшага.

— С одной «н», — попросил он.

Писарь моргнул. Кеонис не стал дожидаться и прошёл, куда вели.

Верен бы записал. Верен бы, чего доброго, поблагодарил.

Отвечал он как тогда, в архиве: буднично, вежливо, как отвечают у окошка, — только теперь окошком был зал. Про ключ: ключ выдали ему, бумагу на ключ он выписал себе сам.

Тогда это звучало исповедью. Здесь — расписанием. Про списки: приметы присылал секретарь, он находил подходящих. Зал слушал по-разному — где как покупатели, где слишком тихо. Айра держала лицо. В архиве это слышали четверо, и у всех четверых было право слышать. Теперь это лежало посреди зала, на камне, при всех свечах, и каждый мог подойти и потрогать.

— Второй, — в полукруге листнули бумагу. — Тормар Кельв. Как вы вывели его из крыла ночью?

— Он вышел сам. — Кеонис отвечал в пол — вежливо, но не покаянно. — Голосом его было не взять: голосу ночью не верят. Я связал морок — знакомую ему спину — и пустил впереди, в темноте. За ней он и пошёл.

— Чью спину вы ему показали?

Пауза у Кеониса вышла короткая.

— Не назову. Морок был мой, вёл его я, другого живого там не было. В вашем деле этой спины нет, и я отвечаю за то, что делал я. Хуже моего положения — только его. Нам двоим уже всё равно, а третьего в этом деле нет.

— То есть помощь в стенах у вас всё-таки была, — заметили из-за кресла Мата, гладко, почти сочувственно. — Живая.

— Была, — согласился Кеонис. — Моя должность и была моим главным помощником. Другой не понадобилось.

Он не врал. Он просто оставил одно имя при себе.

На галерею он не смотрел. Ни разу, ни краем — с тем особым старанием, которое видно только тому, на кого не смотрят.

Полагалось съязвить — про себя, привычно: страх подходит — думай о ерунде. Ерунда не пришла. Впервые за всю столицу.

Руки в рукавах лежали как связанные. Она отыскивала пальцами край обшлага — шершавый, казённый — и взялась за него, как берутся за прилавок. Помогало мало. Кошелек во внутреннем кармане к полудню потяжелели вдвое — теперь им хотя бы было с чего.

Айра сидела и слушала, как её спину, не называя, кладут в основание чужой смерти. Спина была её. Ночь была её. И дверь, которую она подёргала в пятом часу, была её, — но двери в этом зале не было. Никандр вычистил дело до дат, Кеонис — до себя. Двое, не сговариваясь, вынесли её из этого камня на руках, и поблагодарить ни одного из них было нельзя.

Возле одного кресла в полукруге было тихо. Весь зал шептался, наклонялся, скрипел — а там стояла тишина, выметенная дочи́ста: соседи говорили поверх этого кресла, не через него.

Лорд Тормар слушал не Кеониса. Один раз, длинно, он посмотрел вниз, на ректора. Ректор наклонил голову — не поклон, готовность. Тормар отвернулся, не взяв. Больше он не смотрел никуда.

Под конец поднялся Мат — с дозволения, неторопливо. Голос у него оказался негромкий, добрый, совсем не начальственный — самая дорогая вещь в этом зале.

— Мой секретарь распоряжался моим доверием шире, чем мне было известно. Вина моя: я подписывал не глядя. Меру этой вине назовёт Совет — я приму любую.

Он сел под одобрителный шелест своего края полукруга.

Красиво. Сам себе назначил цену — как товар, который боится оценщика. Заплатил секретарём. Куда пойдёт остальное — посмотрим.

— Перерыв, — сказал сухой голос. — Совет продолжит после полудня.

* * *

Кулуары встретили её гулом и сквозняком. Очередь просителей за большими дверьми не делась никуда — Совет ушёл совещаться, очередь осталась, и из этих двух учреждений увереннее выглядела очередь.

Пристав расчищал коридор:

— Дорогу поименованным лицам!

Очередь пропустила поименованных сквозь себя, не шелохнувшись. Дорога была — шириной в одно поименованное лицо, не шире.

Тут же, у левых дверей, решалось прошение: немолодой человек в потёртом сукне добивался, чтобы его вычеркнули. Не из бумаг — из очереди: он состоял в ней с прежнего писмоводителя, дело его за это время решилось само, дважды, в обе стороны.

— Я своё отстоял, — объяснял он. — Сил никаких нет. Вычеркните.

Его выслушали с сочувствием. И записали — в очередь на вычеркивание.

Он ушёл почти счастливый: та очередь, обещали ему, короткая.

Никандр нашёл её у колонны — со своей папкой, снова тонкой: всё толстое из неё сегодня было сдано.

— Дальше доиграют без нас. После перерыва Совет смотрит, кто где сидит. — Папку он переложил под другой локоть. — Сидите скучно. У вас выходит лучше всех в этом городе.

— Тридцать лет стажа, — отозвалась Айра. — Не мои, но я займы беру.

У Никандра случился короткий звук — тот, что у него значился смехом, — и куратор ушёл вниз, к столу.

Она вернулась на галерею одной из первых. Зал внизу стоял пустой и холодный, помост светлел свежим деревом, писари меняли перья, как меняют лошадей. Ректора внизу не было — скамьи домов разошлись вместе с Советом. Она отметила это один раз. Потом, для верности, ещё один.

Наполнялась галерея медленно: сукно, мех, шёпот.

У дальней стены — где не полагалось ни скамей, ни свечей, ни единой причины задерживаться, — стоял человек.

Серый, дорожный, никакой. Глаз брал его и тут же ронял, как роняют перила на бегу: мимо прошли двое приставов, прошла дама с письмом, прошёл человек со свечами — никто не задел его даже взглядом. Он никому не мешал. Его ни для кого не было.

Айра посмотрела второй раз — тем взглядом, который не отпускает. Этому взгляду её никто не учил: он окреп за одну ночь на мёртвом складе, при одной свече, и с тех пор не подводил.

Арден.

Человек её зимы. В списках этого мира его не было ни в одном, и в чужой памяти он держался не крепче: люди забывали его, пока смотрели. Она одна помнила — с первой встречи и накрепко. Зимой он ушёл из академии в снег, со своими, не простившись — если не считать подписи в одну букву.

Чашка дошла. Удивляться было нечему — она сама его звала. Уговор был её собственный, из одной чашки: увидел на подоконнике — значит, нужен. Перед самой дорогой она поставила чашку на лекарское окно и сказала снегу за стеклом, что он нужен ей не срочно — вообще. Ответа она не ждала. Ответ пришёл сам.

Он стоял лицом к пустому помосту, прибранный и терпеливый, и ждал — так, как в этом городе умели ждать только в одном месте.

Двери ему были не нужны — никогда и никакие.

Глава 4. Слово

После полудня зал переменился.

Утром здесь слушали — наклонялись, шептались, скрипели. Теперь сидели тихо и прямо, как сидят за столом, когда подано главное блюдо и все ждут, кто первым возьмёт нож. Свечи сменили на свежие. Писари сменили перья. Галерея уплотнилась: на приговоры столица ходила охотнее, чем на показания, и сукна с мехом прибыло столько, что Айре пришлось отстаивать своё место у колонны локтями — молча, вежливо и насмерть: очередь научила. Полукруг не сменил никто, но смотрел он теперь иначе: утром — на Кеониса, вниз. После полудня — друг на друга, поперёк.

— Совет заслушает поименованных, — объявил сухой голос. — Адептка Сол.

Полный зал, и все смотрят на меня. Мечта карманника — наоборот.

Айра спустилась с галереи и встала, где указали, — у помоста, не на нём. Помост был для докладов. Свидетелям отводился пол, и пол этот, каменный, тянул холодом сквозь подошвы, как тянет от реки в марте. Пахло стружкой и воском. Руки она держала на виду, свободно и пусто — по старой воровской вежливости: когда на тебя смотрит столько народу, покажи, что в руках ничего нет. Про внутренний карман вежливость не спрашивала.

— Назовитесь для записи.

— Адептка Сол. Академия Архонтия, первый курс.

— В деле сказано — второй, — сверился кто-то в полукруге.

— В деле виднее.

Полукруг решил не спорить: с делом — себе дороже.

— Изложите, что вам известно.

Она изложила. Коротко, правдиво и по возможности не всё — выучка у неё была свежая, четырёхдневной выдержки, и работала как новенькая. Смотрела. Умеет смотреть. Что видела — передавала академии. Даты такие-то. Всё сошлось с тем, что Совет уже слышал, потому что всё это Совет уже слышал.

— Кому именно в академии вы передавали сведения?

— Тем, кто спрашивал.

Полукруг счёл ответ исчерпывающим: кто в академии спрашивал, было видно из дела.

Писарь — тот, что утром не поспевал за Никандром, — сидел над её показаниями с пером наготове и понемногу скучал. Записывать было почти нечего. Она честно старалась, чтобы было нечего.

— Вы обнаружили улики ночью? — уточнили из полукруга.

— Ночью виднее, — сказала Айра. — Днём у меня занятия.

По галерее прошёл короткий шелест — не смех, смеха здесь не водилось, а его казённый родственник.

— И каким же способом, — не отставали с края Мата, — адептка первого курса видит то, чего не видят взрослые люди?

— Обыкновенным. Глазами. — Айра подумала и выдала весь секрет мастерства, до дна: — Смотрю, куда никто не смотрит. Туда обычно всё и кладут.

Писарь записал. Перечитал. Посмотрел на неё с сомнением: выходило одновременно слишком просто и слишком похоже на правду.

— У Совета вопросов нет.

— У меня есть.

Мат не поднялся — так и сидел, вторым справа, тяжёлый, гладкий, негромкий, только теперь его голос был обращён не к залу, а к ней, и от этого в нём прибавилось веса, как в руке, которую опустили на плечо.

— Адептка Сол. Первый курс. — Он выговаривал её имя бережно, как пробуют монету на изгиб. — Девочка, которая ходит по ночам, вскрывает чужие замки и находит то, что не нашли взрослые люди на жалование. Совет принимает это как чудо. Я стар для чудес. — Он обвёл полукруг взглядом, неторопливо, по-хозяйски. — Кто-нибудь может поручиться, что эти улики не были положены туда, где их нашли? Что сама адептка — не чья-то рука? Я не обвиняю. Я спрашиваю: кто за неё поручится?

Зал молчал. Молчание было рабочее: полукруг прикидывал, чем это обернётся и для кого. Айра стояла скучно, руки на виду, и держала лицо — а под лицом стало холодно и поделовому: вот оно. Не про дело. Про неё.

Спокойно. Тебя спрашивают, кто за тебя поручится. Отвечать «никто» — невежливо. Отвечать «пёс с тракта» — тоже.

В полукруге зашевелились. Вопрос Мата был хорош — она оценила его, как оценила бы чужую отмычку: дешёв в изготовлении, входит в любую скважину.

Скамьи домов скрипнули.

Ректор поднялся не спеша, без удивления — как поднимаются по вызову, о котором знали заранее. Когда он успел это решить, Айра не заметила — а замечать она умела. Вперёд он не вышел. Он говорил оттуда, где встал, — между домами, и слышно было до последнего ряда:

— Дом Дейн ставит родовое слово. За адептку Сол — за её глаза, её показания и её ночи.

Стало тихо так, как не было ещё ни разу за день — даже при Кеонисе. Писарь замер с пером в воздухе и не писал — смотрел не в лист, а на ректора. Кто-то в полукруге медленно выпрямился. Кто-то так же медленно откинулся. На дальнем краю женщина в сером подняла голову от папок — впервые за весь день — и посмотрела на ректора долго и внимательно, как читают цену на товаре, который не собирались покупать. А теперь, пожалуй, собирались.

Что такое родовое слово, Айра не знала. Зал знал. По залу это было видно лучше, чем по любой книге: слово легло на камень, и камень его принял. Никандр за своим столом прикрыл глаза — на один вдох, как прикрывают, когда сходится длинный счёт. Руки, которые Айра держала на виду пустыми, сами собрались в замок. Она расцепила их обратно: пусто, всё в порядке, смотреть не на что.

Он расписался. За меня. Перед всей столицей, при всех свечах, кровью рода — или чем там расписываются дома. Я-то знаю, на чём дом Дейн стоит изнутри, — оттого и холодно. Ты хоть цену спросил, лорд Дейн? Я дорогая. Мне четыре кошелька сами в карман легли, половина — сегодняшние.

Мат больше вопросов не задавал. Он смотрел на ректора, и на гладком лице его что-то пересчитывалось — быстро, в столбик, с переносом. Итог ему не понравился.

— Совет благодарит адептку, — сообщил сухой голос. — Совет переходит к решению.

Решение заняло меньше времени, чем у Марги уходит на раздачу киселя. Голоса собирали по домам, и дома отвечали коротко — перекличкой. Дом Дейн голоса не подавал: он уже сказал сегодня своё. Возле тихого кресла назвали дом Тормар — и Тормар ответил одним словом, не поднимая головы, так, что в зале на секунду стало слышно свечи. Женщина в сером ответила за дом Кер, не отрываясь от папок, — буднично, как подтверждают доставку. Двое отвечали «против» — последние во всём зале, кто ещё смотрел в сторону Мата.

Айра, вернувшаяся на галерею, считала.

Девять против двух.

Галерея подалась вперёд единым мехом: за этим сюда и шли.

Стража подошла к Мату вежливо, как подходят к покойнику, которого пора бы уже выносить. Он поднялся сам, оправил сукно — оно и тут сидело безупречно — и пошёл к нижним дверям, не оглядываясь на свой край полукруга. Выносили, между прочим, попечителя академии: половина её пристроек стояла на его деньгах, и деньги эти оставались теперь без хозяина.

Край на него уже не смотрел. Край смотрел на женщину в сером — недолго, вскользь, как смотрят на новую дверь, когда старую заколотили.

* * *

Дальше пошло быстро и скучно — так, как в этом зале, похоже, делались самые страшные вещи.

Сухой голос читал решения пачкой, без пауз. Секретаря Шорна — сыскать и доставить. Дознание по столичной части — продолжить. О неудобном кураторе не прозвучало ни слова: то дело умерло, не родившись. Приговор Кеонису Вару — утверждён без прений: единственное за весь день, в чём полукруг сошёлся без счёта. Формулу Айра слушать не стала. Она её уже слышала — в архиве, от него самого, тем же голосом, каким читают вслух чужой список.

Я тебя услышала. Это по-прежнему не прощение. Но я тебя услышала.

— По надзору за академией, — продолжал голос. — Куратора Дейруса от надзора отстранить до окончания разбирательства. Весенние испытания пройдут распоряжением учебной части.

С дальнего края галереи поднялся человек, которого Айра весь день знала по запаху и в лицо не смотрела. Теперь пришлось: он шёл к выходу мимо, неспешно, с лёгким наклоном головы — прощался с залом, как с хорошим ужином. Ладан шёл за ним следом — тот же, что с утра. У самых дверей он приостановился, повёл взглядом по галерее — неторопливо, никого не выбирая, как листают, — и проговорил никому, тем круглым добрым голосом, от которого хотелось пересчитать пальцы после рукопожатия:

— Жаль. Носители Забытой крови под чужими именами — моя любимая глава реестра. — Он тепло улыбнулся дверям. — Вернусь — дочитаю.

И вышел. Ладан уходил дольше. Зал проводил его молча: с куратором Дейрусом даже прощались осторожно, на всякий случай.

Айра сидела скучно. Рука тихо двинулась к внутреннему карману — четыре чужих кошелька при человеке, который вслух любит реестры, — и Айра её остановила: не сегодня. Холод, который прошёл по ней от затылка вниз, был её личным делом и в протокол не попал.

— Совет закрывает заседание...

— Ещё одно дело, — донеслось от дальней стены.

Головы повернулись все разом — и все разом увидели человека, который стоял у стены галереи. Увидели так, будто он появился только что. Хотя он стоял там с перерыва, и мимо него дважды проходила стража.

Сто человек смотрели на него разом — и ни один, спроси его, не сумел бы сказать, во что он одет. Он не вышел вперёд — просто перестал не быть, и этого хватило: приставы у дверей засуетились, как засуетились бы часовые, обнаружив внутри караула лишнего человека, которого никто не впускал и, что хуже, никто не выпускал.

— Вы не значитесь в списке! — нашёлся наконец старший пристав.

— Я не значусь нигде, — согласился серый человек. Голос был под стать ему: тихий, прибранный. — С этим я и пришёл.

В полукруге переглянулись.

— Назовитесь, — потребовал сухой голос.

— Мне нечем. — Прозвучало это без вызова, как сообщают об отсутствии багажа. — Имени на бумаге у меня нет. Ни на одной из ваших. Я прошу это исправить: запишите меня — и решите, что с записанным делать. Я подожду. Ждать я умею.

Нет. Нет-нет-нет. Что ты делаешь. Чашку я ставила не за этим. Ну-ка разворачивайся и уходи! Кыш!

Галерея загудела — сдержанно, по-столичному: не «кто это», а «чей это». Человек без имени был для этого города бесхозным имуществом, и по гулу слышалось, как десяток голов уже прикидывает, к чьим рукам его прибрать.

Айра сидела очень скучно. Так скучно, что заболели скулы. Человек, которого ни один список этого города не знал, стоял посреди зала Совета и просил себя записать — сам, вслух, добровольно. Полжизни подметать за собой даже имя — и прийти сдавать его туда, где имена подшивают.

На неё он не смотрел. Уже второй за день так старательно на неё не смотрел, что хотелось встать и раскланяться.

Зачем он это делал — она не понимала. Он — понимал.

Внизу поднялся Никандр — деловито, как поднимаются к сломавшемуся замку.

— Совет может закрыть заседание. Неучтённые лица — вопрос надзора, не Совета. Приму под расписку.

— Под чью? — не понял старший пристав. — Он же не значит.

— Под мою. — Никандр даже не повернулся. — Я значусь.

Сухой голос помолчал — впервые за день в нём послышалось что-то человеческое, а именно усталость — и закрыл заседание.

* * *

Кулуары после решения гудели, как рынок после дождя, — все разом, вполголоса и о деньгах.

Арест здесь уже пересказывали. По первой версии Мат сопротивлялся, по второй — покаялся в слезах, по третьей выходило, что брали его вшестером и он раскидал четверых. Айра, своими глазами видевшая, как он встал и оправил сукно, слушала с уважением: столица растила тесто быстрее тракта. Пересказывали и другое — в зале, мол, объявился человек, которого списки не знали вовсе, а до списков не знал никто. В этой версии он прошёл сквозь стену. Стена, по слухам, не возражала. Кто-то ещё, не особо разобравшись, пустил слух, что лорд Мат пытался сбежать напрямик в стену, но расшиб лоб, но этот слух не особо разлетелся. Кеониса в пересказах не было совсем: исполнителей столица не запоминала. Расход.

У левых дверей вчерашний проситель, добившийся, чтобы его вычеркнули, стоял теперь в очереди на вычеркивание. Очередь была короткая, как и обещали, — но стояла.

Стояльщик держал своё место у стены, и по нему было видно: день удался. Айра встала рядом — на полшага, по-свойски.

— Ну что, — не выдержала она. — Кто с кем выходил?

— А вы по обуви глядите, — поделился стояльщик охотно. — Лица тут все учёные, по лицам тут пусто. А сапоги — сапоги перестраиваются честно. Которые утром при гладком ходили, те после полудня все при серой даме с папками. Дюжина пар. Хорошие сапоги, наборный каблук. — Он уточнил, справедливости ради: — Ходят пока вразной. Ну, это дело наживное: строй — он от жалованья.

— А сама дама?

— Дама. — Стояльщик выдержал уважение, какое держал, видимо, только для очень больших людей и очень длинных очередей. — Обувь у ней без износу. По коврам ходит, не по камню. А доходит всегда, я примечал.

Ним, тебе бы тут понравилось. Тут по обуви читают лучше, чем я по карманам.

Серую даму с папками Айра нашла в кулуарах сама — по бергамоту. Запах шёл дорогой, покойный, ненавязчивый: за склянку такого в нижнем городе просили как за месяц угла, и склянку эту, судя по постоянству, здесь не экономили. Дама стояла у окна и разговаривала с двумя лордами сразу, слушая обоих и не слушая никого. Папки она держала не под мышкой,

как весь этот город, а перед собой, обеими руками, прямо — как держат поднос или приговор. Бумага в папках была лучше её платья.

На пальце у неё сидел перстень с камнем, при виде которого оценщик внутри Айры сначала присвистнул, а потом сплюнул: сбывать такое в нижнем городе было некому. Самая бесполезная вещь на свете — и её носили именно за это.

— Алена Кер. — Никандр оказался рядом со своей тонкой папкой. — Дом Кер. Голосовала за арест. — Он кивнул на окно и прибавил суше обычного: — Дом старый, охотничий. Раньше держался от столицы в стороне. Теперь, как видите, в самой середине.

Дом Кер Айра знала заочно и не по-хорошему: тот самый, что всю зиму сватал ректору невесту — грамотами, гостинцами и терпением. Досватались, стало быть.

— А что она...

— Увидите, — Никандр перехватил папку под локоть. — Скоро.

Спрашивать его дальше Айра не стала. Искать ректора не пришлось: где он стоит, она знала с той минуты, как открыли двери, — у дальней колонны, один, без свиты. Длинный день у него кончился. Список дел, судя по развороту плеч, — нет.

— Родовое слово, — начала она. — Это сколько же вы за меня поставили?

— Всё. — Паузы перед словом почти не случилось: эту реплику он заготовил давно. — Родовое слово не ставят частями.

— Не глядя? Весь товар?

— Товар я осматривал всю зиму. — Тут он посмотрел на неё — первый раз за этот день прямо, и пауза была правильная, полновесная. — Брак есть. Цена справедливая.

Дороже за меня в этой жизни не даст никто — и торговаться я, пожалуй, не пойду.

— Спасибо говорить не буду.

— Не стоит. Оно входило в цену.

Ответить на это она не успела. Бергамот приблизился раньше шагов: Алена Кер подошла на положенное расстояние, наклонила голову точно настолько, насколько кланяются равному, и заговорила — мерно, обкатанно, той казённой скороговоркой, которой читают вслух готовое. Айра отступила на два шага. Уши остались где были.

«Дом Кер полагает уместным...» — начало было ясным. Дальше шли обороты, из которых можно было строить стены: «...в сложившихся обстоятельствах... интересы обеих сторон...» Одна фраза прошла целиком, как нож сквозь ветошь: «Попечительство над академией дом Кер примет на себя». Это слово Айра знала руками: попечительские бумаги она зимой читала не по праву. Место Мата. Вот, значит, и весь сказ. Дальше снова пошли стены — слова доносились все до одного и складываться отказывались: выделка была высшей пробы, из той, что пишут не для понимания, а для подписи.

Так разговаривала бы опись, если бы опись научили ходить и душиться бергамотом.

Ректор слушал, не перебивая. Такого лица она у него ещё не встречала вовсе. Он умел молчать десятком разных способов — этот был новый.

— ...и приложение по адептке Сол, — сказала Алена Кер.

Эти слова она услышала целиком, до буквы. Что они значат — не поняла. Никто бы не понял: слова были обточенные, без единой зацепки, и именно поэтому легли в память сразу и насовсем — как ложится в память замок, который не смогла открыть.

Ректор молчал. Пауза у Алены Кер вышла длинная, мерная — она ничего не ждала, она отмеряла.

— Я полагаю, — голос у неё был ровный, как строка в хорошей книге, — обстоятельства решаются одним способом.

Она закрыла верхнюю папку — мягко, без хлопка, как закрывают решённое.

— Свадьба, лорд Дейн.

Глава 5. Медяк

Возок вернулся сам. Ну — почти.

Утром после приговоров на подворье стало на одну вещь больше, чем с вечера: у коновязи стоял их возок. Второй, скрипучий, украденный ещё в очереди у ворот, — с той самой чинкой на левом полозе, что ставили в четыре руки и в шесть советов. Хозяин подворья уже дважды пересказал двору: стража приволокла его затемно из тупика за скобяным рядом — брошенного, с обрезанным поводом, целого до последнего гвоздя.

— Я же говорил, — Никандр вышел на крыльцо с бумагами под локтем. — Нашёлся раньше, чем понадобился.

Возок воры вернули по учёту: столица не держала бесполезного. Головной, с целыми полозьями, уехал с концами, сани — ещё раньше. Домой возвращалось в точности то, на что не нашлось покупателя.

Их не ограбили. Их отсортировали.

Старший в разговорах не участвовал. Старший стоял у возка и здоровался. Он обошёл его дважды, потрогал обрезанный повод, заглянул под полоз, снял с сиденья чужую соломинку — соломинку он подержал в пальцах и выбросил за ворота: ей на этом дворе места не было. Досыпал он уже там, на сене, никого не спросив: на казённом дворе, сказал он, охрана казённая, а в возке — своя.

— Двор охраняемый, — заметил ему хозяин подворья, без обиды, для порядка.

— Вот и охраняйте двор, — отозвался старший из возка. — А это уже не двор. Это обоз.

Спор был окончен: у каждого осталась своя держава.

Сборы вышли короткие. Мешок Тай, полегчавший до костяка, но живой. Том Верена — сто девять страниц одного предисловия. Её собственный узелок. Всё это уместилось в одну ходку, и в ходке ещё оставалось свободное плечо.

На крыльцо Никандр вывел Ардена.

Вывел — слово было неточное: Арден просто оказался рядом — прибранный, тихий, дорожного цвета, — и хозяин подворья, скользнув по нему взглядом, привычно его не заметил. Айра — заметила. Уже легче.

— Бумаги. — Никандр подал ей сложенный вчетверо лист и подорожную, новую, на обратный обоз. — Расписка переписана: надзор принимает академия. Довезёте — пусть распишутся, что приняли.

— А Совет?

— Ректор просил. Совет не возражал. — Он прикрыл глаза, пробежал какую-то строку внутри себя и добавил: — И дом Кер не возражал. Дом Кер нынче вообще на редкость покладист во всём, что едет в сторону академии.

Выражения — никакого. Лист в её руках стал чуть тяжелее.

Арден стоял рядом и смотрел во двор, на возок, на серое утреннее небо — впрок. На неё — нет. Это она про него уже выучила: не смотреть на людей у него получалось лучше всего на свете.

— Поедете в возке, — сообщила ему Айра. — Как имущество. Не обижайтесь: имущество у нас нынче в цене — его мало.

— Я привычный.

Ответил он сразу. Ей — сразу, без того зазора, с которым отвечают чужим. Айра сообщила это через два шага и на секунду сбилась с ноги.

* * *

Ректор вышел во двор, когда упряжь была уже на лошади, — одетый по-городскому, без дорожного, и по этому «без дорожного» всё стало ясно: он оставался. Совет, бумаги, дом Кер со своими папками — длинный список, в котором её не было.

Старший немедленно обнаружил в упряжи недостаток, потребовал племянника и увёл его смотреть и учиться на ту сторону возка. Хозяин подворья вспомнил про фонарь. Арден просто перестал быть где-то поблизости. Двор опустел с деликатностью, которой она от этого города уже не ждала.

— Провожать до ворот не буду, — сказал ректор. — У ворот вы будете заняты: там очередь.

— Я уже поняла, что тут всюду очередь. Я в неё, кажется, вступила ещё на тракте, просто мне не сказали.

— Привыкайте. — Своей паузой перед словом он не поступился и тут. — Совет считает, что вы свидетель. Дом Кер считает, что вы приложение. У меня для вас должность точнее.

Он достал из-за отворота перо.

Перо было его — то самое, из кабинета. Глазам в этом предмете узнавать было нечего: перо как перо, тёмное, очиненное коротко, под быструю руку. Она узнала его ухом — так, как узнают голос. Это перо всю зиму скрипело за приоткрытой дверью. Этим пером была подписана вся её зима. У этого скрипа был характер: спокойный, без нажима, доводящий строку до конца.

— Возьмите.

Она взяла. Перо легло в пальцы тёплым — своим теплом, изнутри, не с ладони, — и холод, который она носила в пальцах с самого зала Совета, кончился. Не ушёл — кончился, как кончается зима.

— Оно... — начала она.

— Тёплое, пока я помню, что отдал его вам. — Тон был тот, каким он оглашал расписания: сухой, наизусть. — Остынет — значит, со мной что-то не так. Потеплеет сверх меры — значит, не так что-то у вас. Писем не будет. Письма здесь читают раньше адресата.

— А это, значит, читать нечего.

— Нечего. — Он поглядел поверх её плеча, на ворота подворья. — Переговоры о свадьбе дом Кер поведёт по своим правилам. На переговорах случаются чары правды. Чары правды не различают умолчания — я не смогу утаить ваше имя. Поэтому имени между нами не будет ни в письме, ни в слове. Будет перо.

Про свадьбу она спрашивать не стала. Вопрос стоял рядом всю сцену: что он ответил серой даме — и почём. Обойдётся, сказала она вопросу. Постоишь в очереди.

Всё это он заготовил заранее — она слышала. Реплики лежали коротко и наизусть — дорожным ящиком, всё под рукой. Собирал он их, надо думать, полночи. Показывать, что она это слышит, не следовало.

— Полночи, — подтвердил он. — Если вам интересен расход.

Что? Как? Откуда?..

— Ладно. — Айра спрятала перо за подкладку: внутренний карман был занят чужим, а тут не лежало ничьё. — Должность приняла. Жалованье у должности есть?

— Есть.

Он подал ей медяк.

Монета была обыкновенная — стёртая, тёмная, из тех, что она в другой жизни считала на ладони вечерами. Айра посмотрела на медяк, потом на него.

— Это за что?

— За мнение оценщика. Я им пользовался всю дорогу — про сани, про витрину и про здешние деньги. Дом Дейн долгов не держит. По описи, — тут он дал ей полюбоваться ожиданием, — выходит медяк.

— Дёшево у вас оценщики ходят.

— Первое жалованье всегда дёшево. — Он не улыбался, но где-то это было. — Дальше — по выслуге.

Она взяла — и не знала, что с ним делать. В карман к чужим кошелькам — не то общество. За подкладку к перу — тем более: там жило важное, а деньги к важному не подселяют. Оставила в кулаке — до дороги, а там разберёмся.

Первый медяк, заработанный болтовнёй. Честные у меня водились — шесть штук, за скорость и небитую посуду, — но те достались рукам. Кто бы мне такое предсказал — не поверила бы.

— И ещё, — сказал ректор.

Пауза на этот раз была другая — та, которую держат, когда заготовки кончились.

— Тогда, у себя, вы не договорили. Про «И. Дейн» — с точкой. — Смотрел он ей в лицо, прямо, как вчера в кулуарах. — Вы сказали «и ещё». Дальше вас перебили.

Помнил. Всю зиму, весь суд, всё это сватовство — помнил, что её тогда перебили на полуслове.

— И ещё, — согласилась Айра. Отступать было некуда, да и не хотелось, что уж. — И ещё — иногда — Ивар. Без точки.

Старший на той стороне возка очень громко учил племянника тишине.

Ректор поднял руку — небыстро, так, что можно было отойти, и она осталась стоять, — и положил ладонь ей на щёку. Ладонь была сухая и тёплая, теплее пера. Большой палец тронул скулу — один раз, как ставят подпись под коротким документом. Дар молчал. И город молчал — так хорошо и полно, как не молчал ни разу за эту зиму. Пахло талым снегом и — слабо, повесенному — грозой, которая уже прошла.

— Ивар — можно, — разрешил он. — Без точки. При посторонних воздержитесь: у нас с вами теперь всё казённое, кроме этого.

— Учту.

— Учтите. — Он убрал руку. На щеке осталось тёплое место размером с ладонь, и стоять с этим местом на людях предстояло до самой академии. — Езжайте, адептка. Ворота ждут. Очередь у вас нынче короткая: красть больше нечего.

Обмен вышел неровный: своё имя она сдала ему на хранение, его — увозила с собой. Жаловаться было некому и незачем.

А насчёт «красть нечего» — знал бы он, как ошибался.

* * *

Гостинец она выбрала по дороге к воротам — обоз полз рядами шагом, и галантерейный лоток сам попался на глаз.

Шпилька была медная, столичной работы, с гранёной головкой — под стать: огонь у Тайрыжий с белым сердцем, медь ему родня. Старая её шпилька пережила зиму, драку и распрямление о колено — заслужила подмогу.

— Для сестрицы? — спросила лавочница.

— Можно и так сказать. Она термически одарённая. Официально.

— Тогда медь, — не дрогнула лавочница. — Медь жар любит.

Цену она заломила столичную, в три хороших обеда. Айра прижала руку к сердцу и спросила, не путает ли почтенная хозяйка шпильку с невестой: за невесту с таким приданым просят меньше. Хозяйка отвечала, что за неё давали вдвое, и не кто-нибудь, а человек в бобровой шапке. Айра посочувствовала человеку: в бобровой шапке — и без глаз. Сошлись на трети, обе довольные, как после хорошей драки. Первый раз за всю столицу деньги уходили из её рук по её воле — удовольствие, оказалось, не из дешёвых.

— Корешок возьмите, — сжалась напоследок лавочница. — Жгучий. Греет нутро и характер.

По этой рекомендации выходило, что Тай он без надобности. Айра взяла: жара, по науке соседи, много не бывает.

Своих медяков после этого осталось три. Айра ссыпала их в тощий свой кошелек, кошелек — во внутренний карман, к чужим: пусть едут вместе, дорога длинная, познакомятся.

Так они и доехали до ворот.

Очередь на выезд оказалась младшей сестрой очереди на въезд: короче, злее и без легенды. Возы стояли плотно, дышали друг другу в спину: город прощался с гостями так же, как встречал, — плечами, локтями и кулаками. Айра стояла у возка, медяк в кулаке, и смотрела вперёд, где стража листала подорожные.

Знакомый тулуп она увидела через три воза — и удивиться не успела: он её приметил первым. Стояльщик всё примечал первым — тем и жил.

— Домой, выходит, — поклонился он степенно, как со своего крыльца.

— Домой. А вы и тут стоите?

— И тут. Место на выезд — оно тоже место. Купец один торопится, а очередь не торопится. Вот и стою. — Он оглядел её, возок, небо над воротами — и высказался, как о погоде, которую наблюдает тридцатую весну: — Столица — в ней главное не идти, а стоять. Пока стоишь — всё при тебе. А вот поедешь — тут-то и видно, чего настоялось.

Досматривали их недолго — но со вкусом. Молодой привратный чин взял подорожную, прочёл, поднял глаза, пересчитал отъезжающих и начал заполнять выездной лист. Дошёл до третьей строки, посмотрел на Ардена, сидевшего в возке тихо, как поклажа, — и потерял. Не Ардена — строку. Посмотрел в лист: значилось — двое и начало буквы. Пересчитал: получалось трое и ещё что-то. Он покорно начал лист заново.

На третьем листе Айра не выдержала:

— Вы разрешите, я подержу бумагу? У вас рука устала.

— Не положено. — Чин собрал остатки достоинства. — Так, — предупредил он четвёртый лист, как свидетеля.

Выручил лист Никандра: расписку с печатью ведомства чин прочёл с видимым облегчением — печать освобождала его от необходимости понимать — и переписал слово в слово, не поднимая больше глаз на возок. Так Арден выехал из столицы способом, которым, надо думать, в неё и въезжал: не замеченным и по всем правилам разом.

— Прощайтесь. — Стояльщик тронул шапку, когда обоз пошёл. — Даст очередь — свидимся.

Арка встретила их тем же холодом и гулом, что при въезде. Только с той стороны город не ударил — отпустил. Гул остался за спиной, впереди лежала дорога — серая, в последнем снегу, — и старший на облучке выпрямился так, будто с него сняли мешок муки.

Айра сунула руку во внутренний карман — поправить перед дорогой хозяйство.

Хозяйства не было.

Она первым делом нащупала за подкладкой перо — тёплое, на месте, целое — и на этом хорошие новости кончились. Сам карман был пуст. Не резан, не вывернут — пуст: пять кошельков вынули у самого сердца, поштучно, в тесноте, и ни один не звякнул. Ни четырёх чужих. Ни тощего пятого — её собственного, с тремя медяками после честного торга.

Рраз тебя раздери.

Она присидела с рукой в кармане целый поворот. Восстанавливала. В очереди стояли плотно — раз. Толкались — два. Корзина, локоть, спор возчиков над головой — всё как всегда, как везде, тысячу раз. Показать было не на кого: ни лица, ни руки, ни зацепки. Чисто. Так чисто, что хоть учись.

Гостинец уцелел: шпилька с корешком ехали в мешке Тай. Мешку она доверяла больше, чем собственным карманам, — и не прогадала.

У неё увели пять кошельков разом. Четыре чужих — и один свой, самый тощий из пяти, с медяками, которых там было-то на два пирога.

Меня. МЕНЯ. Весь въезд эти ворота смотрели, как я стою скучная. Приличная. Ничья.

Злость пришла, сунулась было к медякам — и пожала плечами. Медяки — наживное: деньги она теряла и раньше, на то они и деньги. Настоящее лежало не там.

У неё украли краденое.

Четыре кошелька, взятые её руками — без приказа, но чисто, так, что ни один хозяин не шелохнулся, — лучшая её работа за всю столицу ушла из кармана, как репа из мешка. Красть краденое — преступление двойное, она сама так рассудила ещё при сборах. Вот и подтвердилось: вдвое и вышло.

Обидно было не за деньги. Обидно было за выучку. Её — лучшие руки своего города, те, что читали чужой заход из-под корзины, как крупную вывеску, — обнесли в очереди, буднично, между делом, и она не почувствовала ни-че-го.

Ладно, — сообщила она тому безликому, который сейчас разбирал добычу где-то в тёплом месте. — Медяки забирай: наживу. Но кошельки я брала сама. Руками. По-честному. Верни краденое.

Не вернёт, конечно. Столица признавала только очередь, а такой очереди здесь не держали. Единственной.

Медяк — один, честный — лежал, где лежал: в кулаке. В карман она его так и не убрала — не нашла ему общества. Общество нашлось само: остальные уехали, он остался.

Айра разжала кулак, посмотрела на стёртый тёмный кружок и засмеялась — в голос, так, что старший обернулся с облучка, а племянник на всякий случай засмеялся тоже, не зная над чем.

Ним, записывай. Столица — единственный город, который сумел меня обокрасть. Обчистила подчистую, оставила одно жалованье. Удерживай так удерживай — учись, ведомства.

— Чего это она? — вполголоса спросил племянник.

— Едем домой, — объяснил старший. — Кто едет домой, тому смешное смешней.

Гнедая тянула охотно. Возок скрипел на весь тракт — теперь это была не примета, а охрана.

* * *

Полозья шуршали по последнему снегу, гнедая шла ходко: дорога домой всегда короче дороги туда — так уж заведено у дорог, и никто ещё не поймал их на том, как они это делают.

Тёплое место со щеки ветер снял ещё на первом перегоне. Айра записала это в убытки — строка всё равно длинная.

Ехали втроём и вчетвером попеременно: Арден то был в возке, то его как бы не было, хотя он не выходил. Старший к вечеру первого дня сдался и перестал пересчитывать.

— Ты, мил-человек, сиди как сидишь, — попросил он только. — А то я обернусь, тебя нет, я останавливаюсь, а ты есть. Лошадь нервничает.

— Хорошо, — согласился Арден. И сидел. Так старательно, что не замечать его стало почти уютно.

На привале он был полезен той же незаметной повадкой: хворост при нём находился ближе, огонь занимался с одной искры, а котелок, выданный подворьем взамен уехавшего, вёл себя смирно. Делалось всё это тихо, между чужими взглядами, без следа. Айра смотрела, как он подкладывает ветку — точно под язык пламени, не богаче и не беднее, чем огню надо, —

и думала: человека, который полжизни не оставлял следов, дорога, наверное, отдыхает везти — после него даже прибирать нечего.

— Зачем вам в академию? — спросила она, когда племянник ушёл к лошади, а старший — к возку, проверять на ночь, всё ли скрипит.

Арден подумал. Думал он и теперь — но не тем зазором, каким отгораживаются от чужих: этот был по делу. Взвешивал, сколько можно выдать.

— Там ставят чашки.

И подложил ещё ветку.

Понятней не стало. Стало почему-то спокойней — как от его костра, который горел столько, сколько надо, и ни искрой больше.

В мешке Тай, в сердцевине, доживал узелок корицы. Айра развязывать его не стала — до дома оставалось два дня, а корица теперь пахла не «держись», корица пахла «уже скоро». Мешок стоял в углу возка, гладкий, без единой вмятины, и выглядел от этого беспризорно. Ничего. Дома довмятят: дома этим занимается специалист.

Весна нагоняла тракт. Снег ещё держал полозья, но к полудню второго дня дорога зачернела проплешинами, полозья заскребли, и старший прислушивался к скрежету, как лекарь к дурному кашлю. А после полудня навстречу им попала телега.

Обычная телега — на колёсах, гружёная бочками, первая колёсная на тракте. Старший при виде её выпрямился, снял шапку и поклонился ей, как кланяются иконе или начальству.

— Всё, — объявил он с облучка, торжественно. — Телегу встретил — зиму пережил. Теперь, стало быть, взаправду весна. Это, барышня, примета верная, вернее капли: капель и в оттепель бывает, а телегу мужик зря не выкатит.

— А если выкатит зря?

— Значит, не мужик, — отрезал старший, закрывая богословский спор. — Я говорил: колёса надо ставить. Вот люди поставили. Живут же.

Телега проехала мимо, бочки в ней солидно бухали, и возчик телеги посмотрел на их полозья с той же жалостью, с какой старший всю зиму смотрел на чужие колёса. Мир стоял прочно: каждый жалел встречного.

Примета верная, — согласилась Айра в воротник. — Телегу встретила, зиму пережила. С прибытком: должность, медяк и чужая свадьба. Не всякая осень столько даст.

На третий день, в сумерках, поднялась гора, на горе — стены, за стенами — огни. Академия зажигалась к ночи окно за окном, голубовато, знакомо, и от этого света внутри отпустило — как отпускает затёкшую руку.

За сто шагов старший слез с облучка и повёл лошадь в обход, широкой дугой от воротного стража: тот по случаю возвращения мог разразиться и приветственной строфой.

— А вдруг хоть половину прочтёт? — надеялся племянник.

Старший смолчал в затылок лошади. Лошадь шла между ними и, судя по ушам, была за старшего.

Ворота были уже близко, когда Айра увидела обоз.

Он стоял у самых ворот, в стороне, — три крытых возка, добрых, дорожных, на колёсах, и при них люди. Не суетились: ждали, пока их впишут. Она сперва подумала глупость — тёплую и глупую: догнал, — и тут же увидела, что нет. Возки были чужие, без гербов, и люди при них стояли не по-дорожному — строем.

Сапоги на людях были хорошие, с наборным каблуком. Дюжина пар.

Двое прошли вдоль переднего возка. Сапоги шли в ногу.

Жалованье, выходит, пошло, — услышала она в себе голос стояльщика. — Строй — он от жалованья.

У переднего возка, на козлах, лежали папки. Стопкой, углом к углу, одна к одной.

Папки были идеальные.

Глава 6. Кисель

Стихоплёт их дождался.

Каменный страж пропустил обоз под арку молча — и Айра уже решила было, что пронесло, когда за спиной, над воротами, гулко прочистилось горло. Звук был такой, с каким сдвигают жернов.

— «Кто с дороги воротился, тот дорогу превозмог...»

Старший, шедший у лошадиной морды, вздрогнул всем телом и прибавил шаг. Лошадь прибавила вместе с ним: она была учёная.

— «...всяк, кто вышел и вернулся, дважды переступит порог!»

На «порог» у старшего опустились плечи. Вот теперь — пронесло.

— Во даёт, — восхитился племянник, оборачиваясь на ходу. — Это он сам сочиняет?

— Триста лет сочиняет, — отозвался старший, не оборачиваясь вовсе. — Ты слушай, слушай. Только идём быстро.

— А чего быстро? Может, постоим? Вдруг ещё прочтёт?

— Вот стоять тут как раз не надо. Мне под стихами нельзя, у меня болезнь. Учёная. Метро-фо-би-я. — Слово старший выложил по складам. — Стихобоязнь. И не лечится!

— Болезнь? От стихов-то? — усомнился племянник.

— А ты как думал. Болезнь заразная. Я её в извозе подхватил. Седок попался, из серой башни: всю дорогу свои бумаги вслух читал. С выражением. Он же потом и слово дал — денег не взял: таких, говорит, на весь тракт я один. И про болезнь сам же рассказал: она, мол, из-за моря, а за морем от неё целые народы мрут.

— Ух ты, — позавидовал племянник.

— Я сперва думал — шутки. А после в корчме песельник завёлся, из дрянных. Верите: ухо режет, мутит, слеза сама идёт. Сбежал, не доужинав. И заметь, болезнь с разбором: кто за деньги поёт — от того ничего. А кто сам, задаром и с выражением, — вот от того всё. А этот ваш — триста лет задаром. Сам считай. И стоять под ним не надо: зимой тут, стало быть, обоз встал — страж к слову мудрёному рифму подбирал. Трое суток. Люди под стихами стояли, стража до сих пор заикается.

— А подсказать?

— Подсказал один такой. Умный. — Старший наконец обернулся, но не на ворота — на племянника. — Страж поблагодарил и начал сначала. Так и умер там возникший. Насмерть умер.

Чем учёная хворь отличается от простого «не терплю дрянных стихов», Айра не поняла. За нелюбовь учёных слов не дают.

Двор академии лежал в сумерках — синий, расчерченный светом окон, и время по нему читалось лучше часов: у колодца спорили. Зимой тут спорили, чья очередь долбить лёд. Лёд сошёл — споры остались, только теперь делили ведро. С кухни тянуло ужином — теперь из распахнутых дверей и раньше срока: весна. Всё стояло на месте.

Нет. Не всё. У гостевого крыла разгружались три чужих возка — без спешки, в ногу, передавая ящики по цепочке бережно, как чужие деньги. Айра посмотрела один раз, оценила выучку — и отложила на завтра: дела были поважнее.

Обоз — их обоз, в один скрипучий возок — оставался ночевать на конюшенном дворе, а с рассветом уходил обратно: казённое возвращается к казне, нанятые — к найму. Прощались тут же, у коновязи, коротко и по-дорожному.

— Ну, барышня. — Старший стянул шапку, подумал и надел обратно: непокрытая голова к разговору обязывала. — Довёз. В целости. По нынешним временам — не всякий обоз таким похвастает.

— Не всякий обоз так охраняют. — Айра кивнула на возок. — Скрипом.

— Во-от. — Старший поднял палец, довольный, что поняли. — А говорили — чинить. Ничего чинить не надо. Что скрипит — то живое. Оно вам ещё пригодится, барышня.

— Возьму на память.

— А если случится вам опять в столицу, — старший уже разворачивался к возку, и последнее ушло через плечо, по-свойски, — вы там в очередях-то поглядывайте. Не за карманами. За людьми. Карманы — дело наживное, а людей таких больше нигде не показывают.

Племянник прощался дольше: ему было жалко всего сразу — и уезжать, и оставаться, и что Стихоплёт прочёл всего две строки. Он долго тряс Айре руку и сообщил шёпотом:

— Я выучил. Обе строчки. Дома расскажу.

Оставался Арден. Он ждал в стороне: торопить не умел вовсе. В деканат пошли вдвоём.

Виерна нашла в деканате — рабочий день у неё не заканчивался, а просто иногда приостанавливался из вежливости. Расписку она прочла всю, от печати до печати, потом посмотрела на Ардена — коротко и целиком, как вносят в память.

— Надзор академии, — прочла она вслух. — Академия извещена. Я из тех, кого извещают. — Она расписалась, не садясь, одним росчерком. — Жить будете при хозяйственном дворе: там тепло и никто не задерживается взглядом. Вас это устроит.

— Устроит, — тихо согласился Арден, хотя Виерна и не спрашивала его мнения, судя по тону.

— Не сомневалась. — Виерна убрала расписку и добавила без перехода, Айре, тоном оглашённого расписания: — С возвращением, адептка.

* * *

Дверь своей комнаты Айра открыла тихо, по привычке. Зря старалась.

— Стоять, — велела Тай раньше, чем дверь открылась наполовину. — Не двигаться. Дай посмотреть.

Она сидела на кровати с кружкой, в одеяле поверх всего, и смотрела так, как пересчитывают вернувшийся караван.

— Живая, — заключила Тай. — Худая. Столица не кормит?

— Столица кормит. Столица потом счёт выставляет.

— Знаю я такие места. — Тай отставила кружку, выбралась из одеяла, подошла и обняла — сразу, без разбега, по-хозяйски. Объятия у неё были, как и всё остальное, термически одарённые. — Так. Всё. Теперь рассказывай. Нет, сначала ешь. Нет, сначала — что в мешке?

— В мешке твой же мешок. Отдаю с благодарностью: он кормил обоз три дня и пережил три кражи.

— Три! — Тай уже развязывала горловину. — У нас только про них и говорили: обоз Совета, мол, обносили всю дорогу, как ярмарочный лоток. Вы теперь знаменитые.

— Мы — нет. Наша легенда — да. Ей даже атамана выдали.

Тай тем временем дошла до свёртка со шпилькой. Развернула. Замолчала — а молчание Тай было явлением редким, сезонным, и длилось оно аккуратно до того, как она поняла, что держит.

— Медная. — Она подняла шпильку к лампе. — Столичная. С гранёной головкой.

— Старой твоей — подмога. Одна шпилька на такую гриву — подвиг, а не причёска.

Тай вынула из волос старую — заслуженную, с биографией, — положила рядом с новой и осталась довольна смотром.

— Уживутся, — постановила она. — Старшая будет учить. — И воткнула обе разом, привычным движением, не глядя. — Всё, теперь они сёстры. А это что?

— Корешок. Жгучий. Лавочница сказала — греет нутро и характер.

— У меня и то и другое греется само. — Тай понюхала корешок, чихнула и посмотрела на него с уважением. — Хороший. Положу к корице: пусть учится.

Она устроила корешок в свой ящик с припасами, потом вернулась под одеяло, с ногами, и потянула к себе кружку. Кружка была уже остывшая. Тай обняла её ладонями так, как в самые лютые морозы. Весна на дворе, печку топили.

— Рассказывай. — Тай приготовилась слушать всерьёз. — С самого начала. И не вздумай коротко: у тебя это «коротко» я знаю — три слова, и все «ничего».

Айра рассказала. Не коротко. Про сани и благородных бандитов, которые обкрадывают богатых, чтобы потом обкрадывать бедных, про очередь и стоялыщика, про помост со стружкой и зал, где свечи жгут на месячное жалованье. Про кошельки — все пять. Про Ардена — тоже: эту часть Тай дослушала молча, вторая редкость за вечер.

На кошельках Тай подпрыгнула:

— Тебя обокрали! Тебя! Я горжусь. То есть нет. То есть — ну ты поняла.

— Я поняла.

Столица, суд, родовое слово — а слава у меня будет: «та, которую обчистили в очереди». И ведь заслуженная.

— Стой. Родовое слово — это как? Это сильно? По лицу вижу, что сильно. А он что? А ты что? Так. Повтори с того места, где он достал перо, и в этот раз ничего не выбрасывай: я по паузам слышу, где ты режешь.

Дойдя до имени — того, которое отныне можно, без точки, — Тай издала звук, с каким закипает большой котёл, и потребовала повторить трижды. Один раз Айра повторила. Дальше упёрлась:

— Хватит с тебя.

Остальные два Тай добрала сама — в потолок, с чувством, — легла на спину и сообщила ему же:

— Я в этой истории лучше всех. Я знала с осени.

Про то, что Тай кутается в одеяло в тёплой комнате, Айра больше не думала. Почти.

* * *

Утром мешок стоял у двери — пустой, отслуживший. Поперёк горловины, где ткань ещё держала складку, сидела вмятина — недавняя, вдавленная с хозяйским тщанием.

Дома довмятили. Специалист работал ночью и от благодарностей воздержался.

Вниз Айру повёл запах оладий — по такому запаху не идут, на такой строятся. Столовая встретила её гулом, паром и скандалом.

У раздачи гремела тётка Марга. Гремела она не посудой — посудой она как раз владела виртуозно и бесшумно, — а справедливостью:

— Кисель! Мой кисель! Овсяный, на меду, я его для людей варю! А они его — куда?! К архиву! В миске! На пол! По-кой-ни-ку!

— Смотрителю, — миролюбиво поправила повариха.

— Этому вашему покойнику ничего не нужно! — Марга воздвигла над прилавком половник, как жезл. — Ему нужен покой и чтоб вокруг прилично! А кисель нужен мышам! Мышь на моём киселе за одну зиму в кошку выросла! Я на неё муку списываю, как на едока! Вчера в кладовой миска — сдвинута к стене и вылизана досуха! Мышь, которая двигает миски! Рраговы нахлебники!

— Так, может, не варить? — предложила повариха.

— Как это — не варить?! — Марга оскорбилась глубже прежнего. — Люди-то чем виноваты? Люди кисель заслужили. — Она грохнула на прилавок стопку мисок. — Значит, так.

Носить — только в этих. Глиняные, старые, у меня их всё одно списывать. И чтоб к вечеру миски стояли у кухни! Пустые! Смотритель он там или кто — а посуда у меня считана!

Дома. Даже покойника тут кормят на условиях возврата тары.

Айра взяла оладьи с киселём — отпустили без очереди, «с возвращением, худюшая», — и села к своим. Кисель был густой, овсяный, с медовой спинкой: ложка стояла, как часовой. Первую оладью она съела, не успев сесть, и мир улучшился.

Свои были в сборе. Верен держал том, как держат щит, Тевр раскладывал обрезки воска на пробу и связку торговых бирок, а место рядом было оставлено само собой.

— Это займёт минуту, — объявил Верен вместо приветствия и положил перед собой чистый лист. — Минута уже идёт. У меня к вам незакрытое дело. Зимой, в архиве, я просил разрешения записать ту, которая ушла. Вы не разрешили.

— Я не запрещала.

— Вы не разрешили, — твёрдо повторил Верен. — Это разные графы.

— Почему я?

— Вы её нашли. Ваша строка — ваше слово. — Он придвинул лист. — Девять по ведомости. По совести — нет. Я всю зиму жил с ведомостью, которая врёт.

— Разрешаю.

Верен обмакнул перо — своё, всегда при себе — и вывел одну строку. Посыпал песком. Посмотрел на лист с нежностью, которой у него на людей не хватало.

— Всё, — выдохнул он. — Теперь мир сходится.

— А у меня к тебе разговор, — Тевр подвинулся ближе, и бирки поехали за ним. — Не торговый. Взаимный. Это разное, я проверял. Уговор был: цены на воск. Мне для дела.

— Уговор помню. — Айра отставила миску, прикрыла глаза и достала столицу из памяти — рядами, как та лежала: — Воск свечной, лавка у мостовых рядов: брус — четыре медяка, но это цена для приезжих, своим — три с половиной. Церковный, белёный — вшестеро. Огарки скупают на вес, дают четверть цены, врут, что треть. Фитиль отдельно, мотками, торговаться можно до половины. И да: на вывесках позолота, так что на буквах они не экономят — экономят на весе. Недовес у двух лавок из трёх, я проверяла на ладони.

Стало тихо. Тевр даже бирки отложил.

— Ты это всё — помнишь?

— Меня просили посчитать. Я считала.

Тевр выложил на стол четыре медяка — по одному, столбиком, со значением.

— Это что?

— Возмещение. — Он подвинул столбик к ней. — Не плата. Плата — это торговля, а я торговлей не занимаюсь. Сведения — вклад, а вклад фонд возмещает. Не спорь: я себе уже это провёл. Расход есть — а ты теперь приход.

Дом Дейн платит за мнение оценщика медяк. Тевр — четыре. Рынок в этом мире считает лучшие лордов.

Медяки она взяла: спорить с проведённым расходом было бесполезно. У двери столовой её догнала Ним — с ведром огарков, мимоходом.

— Посчитала?

— Посчитала. И меня посчитали: обокрали в очереди. У сердца, поштучно, без единого звука.

Ним поставила ведро, примерила новость на вес — и вынесла итог:

— Работают люди. — В голосе было чистое, беспримесное уважение. — А у нас за зиму ни одной недостачи. Скука.

И пошла со своим ведром дальше — навстречу недостачам, которых не было.

К мастерской Айра сделала крюк без дела — всю зиму делала его и не видела причин менять заведённое. У двери с табличками «Мастерская. Посторонним не входить» и «Стучать.

Ждать. Не трогать» стояли двое из людей Кер — с прибором в ящике, судя по лицам, давно. Изнутри доносился наждак: мерный, ни для кого.

— Стучали?

— Дважды. — Второй, помолчав, добавил с сомнением: — А там точно кто-то есть?

— Ждёте?

— Ждём.

— Значит, всё по табличке.

Она кивнула им и пошла дальше. Наждак за дверью не сбился ни на такт. В лекарской Серака больше не держали — уже хорошо.

Мимо лекарской она и прошла — нарочно, крюком к крюку. Чашка стояла, где оставлена: обычная, из столовой, простоявшая на подоконнике всю её столицу. Айра сняла её и понесла вниз.

— Отработала, — уведомила она чашку по дороге. — Кому ставили, тот дошёл. Живёт при хозяйственном дворе. Ищи его теперь.

В столовой чашка ушла в общую стопку — неотличимая, безымянная. Лучший вид службы.

* * *

Новую власть Айра увидела после полудня — и услышала раньше, чем увидела.

По галерее хозяйственного крыла шла процессия. Впереди — Альяна Кер, в сером, с теми же папками перед собой — только несли их теперь не в чужой зал, а по своему коридору. За ней — магистр Ольдер, старший по ревизиям, с охапкой разграфлённых листов и с лицом человека, у которого однажды уже горел шкаф и который чувствует, что это было не в последний раз: опись, которую всю жизнь вёл он, теперь вели им. А замыкал шествие Юст — и вот Юст единственный из всех шёл счастливым. Под мышкой он нёс «Положение об академии» — своё собственное, истрёпанное, с закладками, — и нёс его так, как несут хоругвь.

— Пункт третий, — говорил он на ходу, с наслаждением. — Раздел о переучёте. Его никто никогда не применял! Никто! Я думал, я один его читал!

— Теперь применят, — мрачно предрёк Ольдер.

У поворота процессия остановилась: Альяна сверилась с чем-то в верхней папке. Стояла она так, что галерея вокруг сама собой делалась приёмной. И в этой тишине стало слышно кастеляншу: ключи у неё на кольце звенели не в лад — она перебирала их не глядя, снова и снова, как перебирают чётки, и по перезвону выходило лучше всяких слов, что где-то на этом кольце есть ключ, которому сейчас лучше бы не находиться.

— Я полагаю, — прозвучало мерно, обкатанно, — начнём с описи. Годовая сверка назначена на весну уставом, который здесь так чтут. — Лёгкий наклон головы в сторону Юста, и Юст просиял. — Дом Кер лишь следует заведённому порядку. Ключевую ведомость предоставит стража, инвентарную — деканат. Расхождения буду смотреть лично.

Голос долетал до Айры через пролёт — как раз настолько, насколько ей было по дороге: один пролёт, и его хватило.

Смотреть лично. Расхождения. В академии, где я полгода ходила по ночам и где половина интересного лежит не там, где его станут искать. У-ху-ху...

Знак под одеждой был спокоен — ему-то что. А вот ей стало тесно. Не страшно — тесно: как в хорошем зале, где вдруг зажгли все свечи разом и стало некуда поставить тень.

Дальше по галерее, у окна, обнаружилась Виерна — она наблюдала процессию с лицом человека, читающего знакомую книгу с плохим концом.

— Госпожа декан.

— Адептка. — Виерна не повернула головы. — Любуется?

— Учусь.

— Похвально. — Это она ответила не сразу — и не потому, что подбирала слова. — Заведённый порядок, адептка, тем и хорош, что его можно завести в любую сторону. Запомните.

Остаток дня академия её не трогала. Про запрет Айра узнала к вечеру — от Тай, которая влетела в комнату с новостью наперевес:

— Распоряжение! На доске! Животных в жилых корпусах — заявить и вывести! До конца недели!

— У нас нет животных.

— Сегодня — в жилых! — Тай видела корень вещей. — А завтра? Завтра они до Дисциплины доберутся?!

— На этого человека я бы посмотрела. Издалека, из-за угла.

— Все так говорят! Старшие уже принимают ставки: два к одному, что распоряжение никто не решится даже прочитать ей вслух.

Был в этих стенах ещё один жилец, которого запрет не касался вовсе, — по причине простой и железной: его не существовало, ни в списках, ни на чьих глазах. Заявить его было нельзя, предъявить — нечего. Самый защищённый обитатель академии. Первый раз на её памяти кого-то спасало отсутствие в списках.

Вмятине на мешке Айра ничего говорить не стала. Незачем баловать.

Вечернюю сводку принесла Тай, бегавшая за кипятком: Дисциплина как сидела на своём подоконнике в приёмной, так и сидит. Жилые корпуса её не касались, распоряжения — тем более, и к ужину академия сошлась на том, что было ясно с самого начала: Дисциплина — не животное. Дисциплина — это Дисциплина.

* * *

Поздно вечером Айра села на подоконник — на свой, обжитый с осени — и подвела итоги дня, как всегда: на ладони.

Перо было тёплым — тем самым теплом, изнутри. Значит, там, в столице, среди свадебных переговоров, он помнил. Она подержала перо в пальцах чуть дольше, чем требовала проверка, и убрала обратно за подкладку. Окно его кабинета сегодня не горело — единственное тёмное на всём фасаде. Ну и пусть: главное из того кабинета она увезла за подкладкой.

Медяков на ладони лежало пять. Один — жалованье, стёртый, тёмный, честный. Четыре — гонорар, столбиком, от Тевра.

Пять. Начинала я эту зиму за угол и две миски в день, а прошлую жизнь — с нулём. Оценщик растёт в цене. Медленно.

Она ссыпала медяки в новый кошелёк — старый уехал со столицей, а этот, не спрашивая, сшила Ним из старой рукавицы — и уже собиралась слезать с подоконника, когда в дверь стукнули. Коротко, дважды, без паузы Верена на «можно не открывать», а Тай не стучала вовсе. С той самой силой, с какой стучат люди, которым откроют.

За дверью стояла Адалис Кер.

Невеста дома Кер. Та самая, ради переговоров о которой он и остался в столице.

Дорожное на ней было ещё не снято — свой возок, на сутки позже обоза дома Кер, и первым делом сюда: коридор она нашла без провожатых и без единого лишнего вопроса. Совпадений такой чистоты Айра не встречала даже у себя в промысле. Второй раз — и про того же человека.

Рука дёрнулась было к подкладке, к перу, — и Айра ей не позволила. Не при ней.

— Адептка Сол, — сказала Адалис Кер.

— Госпожа Кер.

Адалис оглядела её — быстро, внимательно, от лица до рук, как оглядывают не человека, а итог, — и уголок её рта чуть двинулся. У других это называлось бы улыбкой.

— Зима вышла нескучной.

— Я проследила.

Глава 7. Невеста

Адалис Кер ждала у порога — дорожное не снято, перчатки в одной руке, как сложенный веер, — и уходить не собиралась. За спиной скрипнула кровать: Тай села смотреть. Смотрела она поверх кружки — взглядом, под которым на заставах сознавались возы с двойным дном.

— Поздний час, госпожа Кер. — Айра опёрлась о косяк.

— Поздний час — единственный, в который визитов не наносят. — Голос у Адалис был той же прохлады, что ночь за окном. — Значит, и визита никакого нет. Составьте мне компанию — до конца галереи. Дальше не задержу.

Это Айра уже слышала. Зимой, слово в слово, — и та прогулка обошлась ей в знание, которое академия отрабатывает до сих пор. Тогда она назначила себя стоящей на стрёме. Выяснилось: у Адалис Кер на прогулках по делу идут оба.

— Я недолго, — пообещала она Тай.

— Ага, — согласилась Тай, не поверив ни единому слову.

Айра шагнула в галерею — гулкую, ночную, со свечами через одну. За окнами капало: весна работала и в темноте, без надзора. От плаща Адалис пахло дорогой: пылью, лошадьми, чужими постоянными дворами. Дорога была не смыта — дело не ждало даже умывания. Такие вещи она умела ценить: по ним видно, что у человека горит.

От первого же поворота за ними увязался огонёк — вольный, из одичавших за зиму — и пристроился над плечом Адалис, как нанятый фонарь. Она не отогнала. Дом Кер умел принимать дармовую службу.

Шли молча до третьего окна. У третьего Адалис заговорила — вторым своим голосом, рабочим, уже знакомым:

— Зимой я вас ни о чём не просила. И вы прекрасно справились.

— Стараюсь. Особенно когда не просят.

— Тогда будем считать, что об одном одолжении я вас уже просила. — Она чуть наклонила голову, признавая сделку задним числом. — Дом Кер аккуратен в записях. Теперь я прошу о втором.

Остановилась она у окна — будто галерея была её кабинетом, а окно — креслом для посетителей. Повернулась. Посмотрела прямо.

— Помогите мне не выйти замуж.

Капель за окном отстучала свою строчку. Айра поискала, что на такое отвечают. Улица знала слово для любого дела на свете — для этого не знала.

— Обычно просят наоборот.

— Обычно и зимы скучные.

Перо лежало за подкладкой, у самых рёбер, и было тёплым. Рука не дёрнулась — Айра даже не заметила, как её удержала: за дорогу это вошло в привычку. Пальцы она всё-таки прижала к ладони — как на льду хватаются за перила.

— Расскажите с начала. Кто решил, что решено, и что уже подписано.

— Решил дом. Подписано — ничего: переговоры идут в столице, мать ведёт их отсюда — и ведёт быстро. Помолвку объявят, когда сочтут, что пора, — а сочтут скоро: мать не любит длинных дел. — Адалис говорила ровными строками, ничего не пропуская. — Дому нужен второй голос в Совете. Я к голосу прилагаюсь.

— А сказать «нет» вы...

— Сказала. — Впервые за разговор у неё дрогнул не тон — темп. — Мать выслушала и внесла моё «нет» в расписание переговоров. Между примеркой и обсуждением стола. Оно там до сих пор значится. Исполненным.

Вот теперь стало похоже на правду. Так это и делается: рот человеку не затыкают — просто подушку, в которую он выговорился, подшивают к делу.

— Почему я? У дома Кер довольно людей.

— Люди дома Кер работают на дом Кер. — Это Адалис произнесла без горечи, как сообщают погоду. — А мне нужен человек, который умеет, чтобы события не происходили. Вы полгода делали именно это. Ни ссоры, ни истории, ни того, о чём потом пишут. Мне нужна такая же работа. Со свадьбой.

Прятала от Совета одного ректора — теперь прячь свадьбу от её собственной матери. Растём. Скоро буду всю академию прятать.

— Условие. — Айра остановилась, и Адалис остановилась тоже: слушать она умела всем телом. — Одно. Заказчик мне не врёт. Ни в большом, ни в мелочи. Соврут — уйду, и уйду в самый интересный момент.

— Дом Кер не врёт. Дом Кер формулирует.

— Вот это тоже не пройдёт.

Уголок рта двинулся. Второй раз за вечер — по её меркам, буря.

— Хорошо. Вам — не буду. Что вы возьмёте за работу?

— А что даёте?

— То же, чем платили вы. Одолжение. Без срока, без записи. Востребуете, когда понадобится.

Расписка без бумаги. Бумажные Айра в прежней жизни и жгла, и крала — эту не взять ничем. Она кивнула.

Ей был должен целый дом Совета. Вслух не похвастаешься — но про себя можно. Про себя она и похвасталась.

— Тогда о деле. Что вы умеете такого, чего не умею я?

— Ждать по правилам. — Адалис натянула одну перчатку, не глядя, с выучкой хорошей швеи. — Отказать дому нельзя. Зато можно соблюдать. Я намерена соблюдать всё: каждый обычай, каждую примерку, каждую букву. Букв много, и все они медленные. Это моя половина работы.

— Тогда с меня вторая. — Айра прикинула, как прикидывала чужие заборы: где доска гнилая. — У всякого большого дела есть карманы: туда кладут сроки, письма и чужие интересы. Найду, где карманы у вашей свадьбы. Что в них лежит — то и решим.

— Решать буду я.

Мать говорит её голосом, а она и не слышит.

— Решать будете вы, — согласилась Айра. — Лазить буду я. У нас разделение труда, госпожа Кер: так и запишем. То есть — так и не запишем нигде.

Адалис натянула вторую перчатку. Дело было сделано, и она не тратила на сделанное ни одного лишнего слова — развернулась, с той прямизной, какой в доме Кер, надо думать, учат раньше, чем ходить, и пошла назад по галерее. У поворота, не оборачиваясь, уронила в темноту:

— Доброй ночи, adeptка Сол. Спите спокойно. Теперь это входит в мои интересы.

За весь разговор она ни разу не назвала жениха — ни именем, ни словом. Айра тоже не назвала. Так и разошлись — двое, не произнёсшие одного имени на двоих.

Айра осталась у окна. Достала перо — теперь было можно.

Тёплое. Значит, помнил — за всеми переговорами, за бумагами, которых у него не убавилось. Помнил её — а она тут только что взялась развалить его свадьбу. За одолжение. Без записи.

В приличных домах это называется как-нибудь длинно и по-учёному. В неприличных — короче, но при даме вслух не скажешь. Дама, к несчастью, была в наличии.

— Ты ничего не слышало, — предупредила она перо, убирая его за подкладку, и пошла обратно. У своей двери постояла: с той стороны было слишком тихо — так тихо бывает, когда человек сидит близко и очень старается дышать через раз.

Дверь она открыла быстро. Тай не успела даже отскочить — так и стояла у самого косяка, босая, с кружкой, из которой давно всё выпила.

— Я грела уши, — с достоинством объяснила Тай. — У двери теплее.

— И как уши?

— Пусто. Дверь у нас честная, ни слова не пропустила. — Тай отступила, пропуская её, и села на кровать с ногами. — Рассказывай. Всю. У тебя левая бровь работает — значит, большое.

— Меня наняли.

Тай открыла рот. Закрыла. Подняла палец, прося тишины, — и начала загибать пальцы по одному:

— Кто? На что? За сколько? И почему — ночью?

— Невеста. Чтобы свадьбы не было. За одолжение. А ночью — потому что днём её время расписано её матерью.

Пальцы у Тай кончились раньше вопросов. Она издала звук малого котла — большой она потратила ещё на перо — и легла спиной на одеяло, глядя в потолок.

— Не выйти замуж, — сообщила она потолку. — Наняли. Мою Айру наняли, чтобы человек не женился. — Она резко села. — Стой. А мы за кого? Я запуталась: невеста хорошая, свадьба плохая, жених... — Тай запнулась, покосилась и досказала дипломатично: — Жених пусть сам разбирается. Я — за нас.

— За нас, — согласилась Айра. — Спи.

— Ага, посплю. Только завтра ведёшь меня знакомиться с твоим невидимым: я подготавлиюсь. — Тай улеглась, закуталась до подбородка и добавила уже из-под одеяла, почти неслышно: — Первый раз в жизни живу с человеком, у которого работа интереснее моих снов.

* * *

Свёрток Айра нашла утром в собственном сундуке, поверх зимних вещей. Волосок на крышке был цел. Свёрток — был. Открыть её сундук, не потревожив волоска, умел один человек на свете. Кому нести — она тоже знала: это ей однажды написали.

На хозяйственный двор она пришла со свёртком под мышкой. Двор работал: таскали, катили, стучали.

У колодца её зацепили пустым ведром — дужкой по локтю.

— Виноват, — буркнул работник. В землю, не ей.

— Ничего.

Он уже шёл дальше — немолодой, серолицый, шагом без спешки и без роздыха: так ходят, когда работа вместо разговора. Полные вёдра он носил без плеска, ходка за ходкой, один и молча. Лицо Айра отпустила сразу — такое лицо забываешь, не досмотрев. А вот руки отметила, мельком, рыночной привычкой: конец зимы, вода, а пальцы голые — и не красные. Даже не розовые.

Странность легла туда, где у неё лежало всё неважное. Полка была длинная.

Арден нашёлся у поленницы — единственный на всём дворе, он не делал ничего, и не делал мастерски: основательно, с достоинством, всем видом сообщая, что его дело дошло как раз до той части, где положено стоять. В нижнем городе эта стойка звалась «я от хозяина» и кормила годами. Двор обтекал его, не замечая, — как обтекают столб, на котором держится навес.

— Пойдём, — позвала она. — Знакомиться. Мои — это надолго, лучше отмучиться разом.

— Я готовился, — серьёзно отозвался Арден.

Готовился он. К Тай не готовятся. Тай случается.

В архив она вела его переходами, где с утра было пусто. В самом архиве пусто не было: Тай пришла раньше и успела занять стол, застелить его чистой холстиной и выставить корзину, от которой на весь зал пахло корицей и сдобой. Верен уже сидел за столом и третий раз поправлял тетрадь.

— Так. — Тай поднялась и одёрнула рукава. Вид у неё был торжественный: репетировала, не иначе, перед зеркалом Ним. — Я готова. Где?

— Перед тобой.

Тай собралась, просияла и протянула руку:

— Тай. Мне про тебя рассказали всё хорошее, а плохое не рассказали, значит, его нет. Я...

На середине рукопожатия её глаза поплыли. Рука осталась протянутой — крепкой, честной, — а с лица пропала цель: так стоят посреди кладовой, забыв, за чем шли. Она моргнула, посмотрела на свою руку, потом на Айру.

— Я кому-то её протягивала. Только что. Я держала! За руку держала!

Арден бережно, как ставят на место чужую вещь, довёл рукопожатие до конца и разжал пальцы.

— Все теряются, — извинился он. — Вы дольше многих продержались.

— Покажись, — велела Айра. — Тут все свои. Отдохни от себя.

Он словно шагнул ближе, не сходя с места. Смотреть на него стало просто. Тай уставилась во все глаза, обошла его кругом, вернулась и торжественно, двумя руками, потрясла его ладонь — второй раз и с запасом.

— Теперь держу. — Она усадила его жестом, каким сажают за стол в лучших домах и в худших трактирах. — Ешь. Кого я кормлю, того я помню. Проверено на всех, сбоев не было.

— Обычно меня кормят, чтобы я ушёл, — вежливо поделился Арден и взял плюшку.

— Здесь наоборот, — отрезала Тай. — Ешь, чтобы остаться.

Ел он тихо и очень внимательно — с едой у него была давняя вежливость.

— Работает? — спросил он между делом.

— Проверяю. — Тай прищурилась, отвернулась к окну, сосчитала до трёх и обернулась. — Помню! — доложила она с гордостью. — Голова пепельная, ест мою сдобу, зовут Арден. Наука.

Верен всё это время держался. Держался он громко: в нём отчётливо копилось. На «науке» его прорвало — он отложил перо с той решимостью, с какой захлопывают спор, и встал.

— Я обязан спросить. Вы по документам существуете?

— Нет.

— Нигде?

— Нигде. Надзор академии — это расписка обо мне. Но не я.

— Расписка. — Верен произнёс это слово, как пробуют на зуб фальшивую монету. — Значит, человек есть, а строки нет. У меня в этом зале сходится всё, кроме вас. Я хочу, чтобы вы знали: мне это причиняет неудобство.

— Мне тоже, — вежливо согласился Арден.

Верен горевал не о человеке — о графе. У него это, впрочем, одно и то же.

— Ничего. — Верен сел и придвинул тетрадь, успокаивая скорее её, чем себя. — Я подожду. Строки имеют свойство появляться. Я видел, как это бывает: живёшь, живёшь — и вдруг тебя записали.

Дверь стукнула — коротко, по-рабочему: так стучат, когда предупреждают, а не спрашивают. Вошёл Серак: в руках дверная петля и промасленная ветошь — Верен жаловался на скрип картотечной дверцы всякому, кто был обязан слушать. До картотеки Серак не дошёл.

Он остановился на втором шаге. Посмотрел на Ардена — и стало очень тихо. Даже Тай застыла с плюшкой на весу, поняв раньше всех, что сейчас происходит что-то, к чему она не готовилась перед зеркалом.

Серак смотрел долго. Так он смотрел на деталь, которая год пролежала не в том ящике — а теперь нашлась, и выходило, что весь год механизм собирали без неё.

— Твоя очередь, — негромко напомнила Айра. — Дошла.

Эту очередь Серак занял ещё зимой — и ни разу с тех пор о ней не заикнулся.

Он кивнул. Не ей — так, как кивал законченной работе.

— Досчитал, — сказал Серак.

Больше он ничего не добавил. Прошёл к столу, положил петлю, сел напротив Ардена — и Тай, спохватившись, молча подвинула к нему корзинку, потому что тишину такой пробы полагалось чем-то заедать.

Айра развернула свёрток. Куртка была тёмная, тяжёлая, чиненная у ворота — чинил кто-то умелый, но давно. Не её размер, не её погода — и очень долго ничья.

— Тебе. — Она положила куртку перед Сераком.

— Мне не холодно, — сказал Серак.

— Ты всегда так говоришь. Носи так.

Он посмотрел на куртку. Потом взял и надел — сразу, без примерки, как надевают своё. Куртка пришлась.

— Тёплая, — сказал Арден.

Больше про куртку никто ничего не говорил. Тай разлила по кружкам кипятка с сушёной малиной — малина была от Ним: та не спросила зачем, но банку велела вернуть, — и какое-то время в архиве было слышно только то, что положено слышать в хорошем доме с утра: как звенит ложка, как скрипит — последний день в своей жизни — картотечная дверца и как пять человек молчат об одном и том же, каждый со своего конца.

* * *

Доска появилась у столовой к полудню, и к полудню же выяснилось, что академия всю зиму жила впроголодь — не по еде, по событиям.

Доска была небольшая, струганая, со следами мела от прошлых начинаний. Сверху заголовок не имелось: заголовок пришлось бы как-то называть, а называть Тевр ничего не собирався. Ниже шли три строки, выведенные его аккуратным почерком:

«Состоится в срок».

«Состоится позже».

«Состоится иначе».

Что именно состоится — доска умалчивала.

— Смотрины же, — говорила девица с Клинки своей соседке. — К ректору невесту привезли, любому дураку ясно. Рыжая, в сером, я её у гостевого видела: идёт — не смотрит, значит, точно невеста.

— Какая невеста, — гудел старшекурсник из-за её плеча, бородатый наполовину: левая щека старалась, правая не участвовала. — Ревизия это. Невест не бывает с папками. Свадьбой прикрывают переучёт, старый приём.

— Ты рыжую с серой путаешь. С папками — старшая, а рыжая без ничего ходит.

— Значит, две невесты, — не сдался старшекурсник. — Тем более ревизия.

Двор говорил сам — но и в колодец, чтобы заговорил, надо сперва бросить камешек.

— Слышала, гостя-то из казначейства? — подбросила Айра в пространство между девицей и старшекурсником. — Считать приехала.

— Скажешь тоже, — обиделась девица. — Казначейские в шёлке не ездят и возка своего не держат. Невеста. А считать у них старшая приставлена, серая: ей теперь и готовят отдельно. Без лука! Кухня стонет.

Старый рыночный способ: хочешь узнать — Расскажи неправильно. За четверть часа Айра собрала состав обоза, число прислуги и обеденные капризы Алены.

Тевр сидел тут же, за столиком, с жестянкой из-под леденцов. В жестянку падали медяки.

— Это ставки? — строго спрашивал новенький.

— Это фонд, — объяснял Тевр тем же голосом, каким объяснял всем до него. — Фонд угадывания. Ставки — это когда играют, а я не играю, я собираю мнения. Мнение вносят медяком. Угадавшие делят собранное. По справедливости.

— А чем это отличается от ставок?

— Всем, — твёрдо говорил Тевр. — Я справлялся. У понимающих людей.

Юст стоял у доски давно — Айра издала узнала его по наклону: так он читал только «Положение об академии». «Положение» было при нём — открытое, заложенное пальцем.

— Фондов в «Положении» нет, — доложил он наконец. — Проверил дважды.

— И что это значит? — спросил Тевр с интересом.

— Что не описано — то не запрещено. — Юст торжественно опустил медяк в жестянку. — «В срок».

— Почему «в срок»?

— Положение любит сроки, — просто объяснил Юст.

Процессия прошла двором: Алена Кер с папками, свита следом — и по правую руку, шаг в шаг, Адалис.

Рядом они оказались впервые — серая и рыжая, непохожие ничем, а читались одной строкой: та же выучка, тот же способ идти не глядя. Мать и дочь.

— Примерку перенесли на вечер, — сказала Алена на ходу. — Я полагаю, возражений нет.

— Возражения не значатся.

У доски Алена задержалась — прочла её, как читают чужую ведомость, и пошла дальше: придаться было не к чему.

Пометки Тевр вёл мелом: под «в срок» — уже частокол, под «иначе» — ни одной.

Три к одному на «в срок» — двор верил в свадьбу, как в расписание. Свой медяк она положила бы на «иначе», и безо всякого заказа. Вот об этом она себе думать и запретила.

Адалис вернулась четверть часа спустя — одна: люди дома остались при матери, а у всякого расписания есть щели, и свои Адалис, похоже, знала наизусть. Двор притих настолько, чтобы всё слышать.

Она читала доску дольше, чем требовали три меловых строки, — как читают договор.

— В чём разница между «позже» и «иначе»? — спросила она у Тевра.

— В медяке, — честно ответил Тевр. — На «иначе» ещё никто не вносил. Загадочная строка. Держу для полноты.

Адалис достала монету. Поддержала её над жестянкой — та на миг замолчала — и опустила.

— «Иначе».

— Основание? — деловито спросил Тевр, занося пометку мелом.

— Обыкновенно я права.

Она наклонила голову — всему двору сразу, как одному человеку, — и пошла прочь той же походкой: идёт — не смотрит. Двор выдохнул, загудел — у столика уже спорили, что знает рыжая и почём это знание.

Поставила она, если разобраться, ни на что: доска-то — без заголовка. Дом Кер не врёт. Дом Кер формулирует.

К доске тем временем прибывало народ со всей академии: перемена кончалась, от столовой шли густо, и толпа сгрудилась уже в четыре спины. Айру притиснуло — привычно, рыночному: локоть слева, короб справа, чьё-то «да не толкайся ты» через голову. В такой толчее тепло: весна весной, а люди греют — дыханием, боками, самой толкотнёй.

Справа не грело.

Она заметила это раньше, чем поняла, что замечает: как ловишь сквозняк — не умом, кожей. Справа, вплотную, стоял человек в рабочей куртке, из хозяйственных, — плечо к плечу, ближе, чем стоят незнакомые. От плеча не шло ничего. Ни тепла, ни дыхания на щеке. Рядом с ней стояла прорубь ростом с человека, и пальцы левой уже стыли — раньше, чем она успела понять почему. Перо у рёбер осталось тёплым: холод шёл не оттуда.

Айра повернула голову.

Он уже смотрел на неё. Серолицый — утренний, с хозяйственного двора: тот, что зацепил её ведром и извинился в землю. Смотрел прямо, не мигая: так смотрят люди, на которых давно никто не смотрел.

Толпа качнулась, между ними вклинилась чья-то спина. Айра подалась следом, локтем, — но когда спина прошла, человека не было. Только у доски всё спорили, в срок или позже, и мел на приступке был тёплый от чужих пальцев.

Глава 8. Прилетели

Сразу после утреннего колокола академии велели не расходиться.

Велели без объяснений — а значит, объяснения двор сочинил сам, пока строился: жалование пересчитают, столовую закроют, кого-то женят. На «женят» сошлось большинство: доска у столовой стояла всем на виду, и три меловые строки — «в срок», «позже», «иначе» — читались теперь как программа торжеств.

Женят, к слову, по общему мнению — лектора Эйна. Как, почему и зачем — никто толком объяснить не смог. Женят и всё тут.

Айра встала с краю, где стоят люди, которым ничего не надо. Тай пристроилась рядом и приподнималась на носках через два вдоха на третий.

— Может, каникулы дадут, — предположила она без всякой надежды. — Ну а вдруг. Должно же и у нас что-то случаться хорошее.

Ха.

На крыльцо учебной части вышел куратор Отт.

Вышел он, как выходил всюду: не спеша, с лицом человека, которого оторвали от важного дела ради дела не такого важного. В руках у него был лист — один, с печатью, — и по тому, как он его нёс, стало ясно: сейчас будет не про каникулы.

— Решением Совета, — начал Отт голосом, которым оглашают расписания, — впредь до возвращения ректора попечение дома Кер, установленное над академией, распространяется на управление ею.

Двор притих. Где-то в задних рядах шелестнуло «чего-чего оною?» — и стихло само.

— Распоряжения дома Кер, — читал Отт, — надлежит исполнять наравне с ректорскими. Учебная часть остаётся в своём ведении. Прочее — в ведении дома.

Прочее. Хорошее слово. В «прочее» помещается всё, что ходит, лежит и дышит.

Айра слушала, как слушала всегда, — лицом «мне ничего не надо», — а внутри работал счёт. Дом Кер и так уже неделю переписывал академию: вещи, кошек, работников, ложки. Теперь у переписи выросла подпись. Сегодня они считают ложки. Завтра кто-нибудь аккуратный сверит списки людей — все ли на месте, все ли те, — а она в этих стенах жила на чужом Знаке.

Рука сама нашла сквозь подкладку перо. Тёплое. Жив и помнит — больше перо ничего сказать не умело. Знает ли он, что его академию сегодня утром переписали на другой дом, — об этом у пера спрашивать было бесполезно.

Альена Кер не пришла. Ей и незачем было приходить: зачем идти туда, где уже всё твоё. Вместо неё по правую руку от крыльца стояли двое людей дома — в тёмно-зелёном сукне, неподвижно, как стоят вещи.

А с юга, из-за крыш, шло хлопанье.

Оно шло уже с минуту — мягкое, множественное, — и двор его не слушал: мало ли что хлопает весной. Первым обернулся старший с хозяйственного двора. За ним — стражники у ворот, оба разом. Потом какой-то конюх начал, не оборачиваясь, тихо пятиться к конюшне.

— Птицы, что ли? — сказали в толпе, задирая головы.

— Бельё сорвало, — предположили рядом. — Вон, полощется.

Старший с хозяйственного двора посмотрел на юг ещё секунду. Лицо у него сделалось, как у человека, который очень надеялся дожить до старости без этого.

— Боги милостивые. Это книги, — сказал он негромко. И сразу во весь голос: — ЭТО КНИГИ! БЕГИТЕ!

Из-за южной крыши поднялась стая.

Издали она и правда была как бельё, сорванное с верёвки всем разом: хлопало, полоскалось, шло широким неровным клином. Вблизи бельё оказалось с корешками. Летели они по-разному, каждая на свой лад: мелочь шла юрко, зигзагами, толстые тома заходили издали и тяжело, как гуси, — и от одного такого захода расступалась целая четверть двора. Пахнуло старой бумагой и архивной пылью — целой библиотекой, вышедшей подышать. Тень прошла по снегу вся разом, двор, только что выучивший слово «оною», мгновенно выучил слово «ложись», — и стая упала.

Дальше всё случилось быстро и жестоко.

Двоих — конюха, не добежавшего до конюшни, и кого-то долговязого в форменном плаще — подняли. Не растерзали, не уронили: подняли деловито, втроём на брата, как своё, и понесли за крыши. Конюха двор пытался отбить: вцепились втроём же, тянули к земле все-рьёз, как перетягивают воз из грязи. Двор проиграл. Выиграл один сапог — и остался стоять с ним, не зная, куда теперь его девать. Форменный сопротивляться не стал, только придерживал шапку — рука не смирилась раньше хозяина.

Ещё нескольких сбили с ног и били — корешками, наотмашь, по-хозяйски, — пока один из них, зажатый между «Трудами по началам» и чем-то толстым в телячьей коже, не сообразил. Он раскрыл то, что было ближе, и начал читать. Вслух. С середины, судорожно, дрожащим голосом — про нормы отпуска овса. Книга над ним замерла. Послушала. И осела рядом, сытая.

— ЧИТАЙТЕ! — заорали из-под соседней свалки, вычислив науку. — ОНИ ЗАТИ-ХАЮТ!

— Не вздумай! — рывкнул старший, вжимая в землю какого-то первокурсника. — Начнёшь — не отпустят! Падай и не читай!

Науки, как всегда, оказалось две, и обе орали друг на друга поверх свалки.

— Не беги! — доорал старший вдогонку кому-то резвому. — Бегущих они!..

Резвого мягко, почти бережно сбили в сугроб.

— ...любят, — закончил старший уже для себя.

Кто-то из адептов — городских, гордых — попробовал по-учёному. Второкурсник поднялся на одно колено, встал в дуэльную стойку и начал плести заслон: узор занялся, налился, почти встал...

— Не колдуй! — рывкнули с трёх сторон разом.

Книга смахнула недоплетённый узор корешком, как смахивают крошки со стола, и добавила по пальцам. Второкурсник сел обратно в снег.

— Оно же почти получилось, — сказал он снегу, с обидой.

— Все так начинали, — утешили его из-под ближайшего укрытия.

Остальным доставалось по мелочи: покусывали, попинывали, оставляли синяки и ссадины. Книга среднего размера пикировала, прихватывала переплётом за что придётся — за рукав, за ухо, за хлястик — и шла на второй круг. Маленькая злая книжица, в ладонь размером, в одиночку гоняла по двору троих взрослых мужчин — и по тому, как она срезала углы, было видно: не в первый раз. Двор осел на землю послойно, накрывшись кто чем: Тевр — собой поверх жестянки, Юст — «Положением», держа его над головой, как щит. У поленницы, не ложась, деловито отмахивался снятым ремнём кто-то из старшекурсников — по экономным, без замаха, движениям читался человек, встречающий эту весну не первой.

Из-под Тевра, приглушённо, но внятно, сообщили:

— Фонд работает. Ставки на длительность налёта принимаю лёжа.

Тай упала правильно, лицом вниз, и из-под локтя вела хронику.

— Большие заходят с юга! — докладывала она в снег. — Маленькие отовсюду! Одна сидит на колодце и просто смотрит! Я всё запоминаю!

— Запоминай молча.

— Я их читала! — Голос у неё сел до трагического шёпота. — Я в архиве брала! Я хорошо читала, с уважением! Они помнят?!

— Лежи. Сейчас спросим.

Айра лежала щекой на утоптанном снегу, смотрела, как в трёх шагах от неё том в зелёном переплёте методично долбит корешком чей-то короб, и не читала ничего. Принципиально. Из всех наук выживания эта далась ей легче прочих: молчи — целее будешь.

Отт дочитал.

Он не повысил голоса и не сошёл с крыльца. Когда на лист спикировало что-то тонкое, без переплёта, он повернулся боком, прикрыл документ локтем и дочитал из-под локтя: «...о чём и объявляется для всеобщего сведения». Потом сложил лист вдвое, убрал за пазуху и оглядел двор — лежащий, покусанный, местами читающий вслух.

Двое людей дома Кер всё это время простояли у крыльца, где стояли. Только сдвинулись плечом к плечу, теснее. Вещи не разбегаются.

— Оглашено, — сказал Отт.

Стая снялась сама. Собралась над двором, покружила — широко, с лентой победителя — и осела на южную башню, всю, разом: башня встопорщилась переплётами и стала похожа на старую нахохленную птицу. Сверху, сквозь ветер, долетал шелест — мерный, страничный. Двор начал подниматься, отряхиваться и считать потери.

Потери были: двое унесённых.

С башни, из встопорщенного, свесилась чья-то нога и покачивалась.

— Живой, — определили в толпе с облегчением. — Вон, ногой балует.

— Это они ему читают, — поправил старший без всякого утешения в голосе. — С середины не отпустят.

— Вернут? — спросили дрожащим голосом.

— Сами слезут, — успокоил он, глядя на башню без всякой приязни. — К вечеру обычно слезают. Ну, тот, с крыши, к утру слез.

Первым к обычной жизни вернулся Тевр. Он поднялся, отряхнул колени, поставил жестянку на приступку и мелом, твёрдой рукой, подвёл под тремя строками черту — не меняя ни одной.

Двор потянулся к доске сам. Медяки пошли в жестянку один за другим, и почти все — под «иначе».

Тай внесла свой тоже — торжественно, обеими руками, как в храме.

— Я не всё понимаю, — призналась она честно. — Но я участвую.

— Мудрейшая позиция на этом дворе, — оценил Тевр и сделал пометку мелом.

Записываем. Власть сменилась, двоих унесло, прочих покусали, ставки на «иначе» удвоились. Оглашено.

Одно она отметила отдельно, мельком, и убрала до случая: всю зиму в академии читали вслух — лекции, переключки, вечерние чтения у печки. Стая пришла сегодня. Под самый громкий и самый казённый голос за всю зиму.

* * *

День после переворота и нападения книг академия доживала на цыпочках. По галереям и дворам стояли, как расставленная мебель, люди дома Кер — по одному, с ведомостями, — и всякий шёл мимо них чуть ровнее, чем ходил вчера. У столовой сняли и унесли какое-то старое объявление — никто не успел понять какое, но всем стало неуютно.

Айра шла с занятий в столовую и жила скучно: самое время было не отсвечивать. У колодца на пути кто-то из дворовых пересказывал кому-то через плечо, что с хозяйственного

двора ночью ушёл работник — «с вечера был, а к колоколу не вышел», — и слушали его вполуха: в академии за это утро пропадало и поважнее. Двоих вон вообще на башню унесло.

— Может, и этого унесло, — рассудили у колодца. — Ночью. Первым заходом.

Версия всем понравилась: она ничего ни от кого не требовала.

Не моё. Не плачено. У меня и без того день расписан: живу тихо, дышу через раз.

У приёмной ректора стоял человек дома Кер — и не входил.

Видно это было даже издали: человек стоял у самой двери, руки держал пустыми и смотрел не на дверь, а на подоконник рядом. На подоконнике лежала стопка папок, а на папках, по-хозяйски обернув лапы хвостом, сидела Дисциплина, кошка ректора.

Айра сбавила шаг — и остановилась вовсе. В нижнем городе за такое представление брали медяк с человека. Тут показывали даром.

Вблизи расклад был ещё лучше. Натаявшая с сапог лужица под ним успела разойтись широко: стоял он давно. Поверх папок лежала тонкая ведомость переписи — после запрета на животных дом Кер взялся переписать всю живность академии, а с нынешнего утра у переписи была ректорская сила, — и живность академии, вся, в количестве одной штуки, сидела прямо на этой ведомости и смотрела на переписчика, как на еду, которая ещё не решила, еда ли она.

Положил он бумаги, надо думать, на минуту — освободить руку под дверную ручку. Минуты хватило.

Согнать кошку он не мог: она принадлежала ректору, ректор — академии, академия состояла под опекой дома Кер, и выходило, что тронуть эту кошку без распоряжения — всё равно что тронуть без распоряжения сам дом Кер. В плохом смысле. Нет. В самом плохом смысле. Распоряжений на этот счёт не существовало в природе. Вытянуть папки из-под неё он тоже не мог: казённое не выдёргивают. А входить без ведомости было незачем — он с ней и пришёл.

Он мог стоять.

Он и стоял. Раза два его рука выходила к стопке — на треть пути — и возвращалась. Между попытками он переминался с ноги на ногу, аккуратно, по чуть-чуть, чтобы со стороны это выглядело не топтанием, а стоянием.

— Кыш?.. — попробовал он наконец вполголоса, оглянувшись: не слышит ли кто, как человек дома Кер разговаривает с кошкой.

Слышала Айра. Но лицо она держала прохожее — будто поджидает знакомого, — а на такие лица никто не оглядывается.

Дисциплина медленно закрыла глаза. И открыла. Больше в ответе ничего не было — и не требовалось.

Правильно. «Кыш» — это не по форме. Подай письменно.

Уходя, она слышала, как за спиной снова осторожно начали переминаясь.

У крыльца учебной части к полудню разгружали телегу: ящик, длинный, в рогоже. Принимал куратор Отт — ведомость под мышкой, лицо человека, у которого это уже третье важное дело за день, а день ещё не кончился. При нём стоял человек дома Кер со своей ведомостью — Айра отметила сапоги: наборный каблук, слоёный, как хороший пирог. Принимали вдвоём: академия — вещь, дом Кер — счёт.

Из ящика вынимали журналы. Три штуки, большие, в новых переплётках, пахнущие клеем и кожей даже через двор.

Айра шла мимо прогулочным шагом — и с шага не сбилась. Шаг у неё был выученный: он держался, даже когда сбивалась она. Дойдя до угла, она свернула к стене, где сохло на солнце чьё-то бельё, и занялась им с видом человека, которому это бельё родное.

Отсюда было и видно, и слышно.

Сначала она узнала почерк. На верхнем томе, у корешка, белел ярлык «в реставрацию» — узкий, быстрый росчерк, знакомый ей лучше собственного: этой рукой была расписана вся

её зима. Потом узнала сами журналы. Те самые. Зимние. Три учётных тома, которые они с ректором в одну долгую ночь испортили своими руками — кляксами, чашкой, воском и переплётным клеем, — чтобы одна-единственная запись в них перестала читаться. Их отправили в реставрацию — «месяца три, иногда четыре».

Срок вышел. Журналы вернулись.

— Три единицы. — Отт в ящик не заглянул. — По накладной три, по описи три. Расписывайтесь.

— Я должен сверить состояние, — сообщил человек дома Кер.

— Состояние отличное. — Отт перевернул лист. — Лучше нового. Мастерская пишет: восстановлено всё, включая утраты. Читается целиком. Расписывайтесь.

Восстановлено всё. Читается целиком.

— Куда их теперь? — спросил человек дома Кер, расписавшись.

— В закрытое хранение. По месту приписки.

— Дом Кер полагал бы уместным ознакомиться...

— Полагайте. — Отт прибрал ведомость. — Заявка, основание, виза. Претензии не принимаются, вопросы, к слову, тоже.

Он ушёл вслед за носильщиками, не оглянувшись, — и двадцать лет казённой службы ушли с ним, тем же шагом.

Айра досмотрела до конца — как смотрят чужую свадьбу: близко, а не позовут.

Спокойно. Кляксы там глупые: половина, между прочим, моей работы. По глупой кляксе не соберёшь ничего.

Но журналы теперь лежали в новеньких переплётах под чужим замком, принимал их дом Кер, а перепись с утра шла наравне с ректорским словом — и у неё с этим домом, ко всему прочему, был подряд.

Зимой она думала: до весны далеко. Весна пришла.

* * *

Вечером Тай постановила, что после такого дня людям положено горячее, и не абы где, а у Марги: кухня в этот час кормила двор — конюхов, истопников, прачек, — и нынче двор был разговорчивее обычного. День выдался урожайный.

Марга ходила от котла к столам, своих слов не тратила, чужие собирала — как Тевр мнения. Тай сидела со своим пирогом в середине длинного стола и была звездой вечера: предысторию она добыла ещё днём и теперь выдавала её по кругу, свежую, с пылу.

— Значит, так. Это книги из архива, ожившие. В прошлом году кто-то из архивных доупражнялся с заклинаниями — несколько штук ожило. Они и тогда кусались, это все знали. А осенью, ещё до нас, собрались стаяй и улетели на юг — и вся академия выдохнула. А теперь весна. — Тай обвела стол ложкой, как указкой. — Вот они и вернулись. Отдохнувшие.

— Отъевшиеся, — мрачно поправили с дальнего конца. — Вон как Рыжего несли. Втроём. А осенью бы, говорят, вшестером несли.

— А Рыжего-то вернули?

— Слез. — Голос был степенный, из старших. — К ужину сам слез. В одном сапоге, но слез. Говорит, они его не трогали. Сидят и читают. Друг дружку. По очереди.

Стол помолчал, переваривая.

— А второй?

— А второй пока сидит. Второй у них, видать, интересный.

Где-то на тракте один знакомый возчик сейчас икнул и не понял почему.

— И ведь числятся, — вздохнул кто-то тощий, из архивных. — До сих пор в описи стоят. Верен наш, когда про них говорит, у него лицо такое, будто при нём книгу рвут. Медленно.

— Теперь-то всё запишут, — хмыкнул степенный. — Слыхали утром? Наравне с ректорскими. Раньше что стряслось — иди в приёмную, Самому скажи. А теперь? В опись, что ли, жаловаться?

— При Самом бы не забаловали, — согласился второй, постарше. — При Самом бы эти книжки уже строем летали. А Сам в столице. Когда назад — не докладывают.

Не докладывают — и хорошо. Потому что когда доложат, ей придётся вспомнить, что она подрядилась развалить его свадьбу. Вернётся — обрадуется.

— А Сама-то? — понизили голос на среднем краю стола. — Серая. Её кто вообще видал — после утреннего?

— А ей зачем себя казать. — Степенный отодвинул пустую миску. — Она теперь вроде сквозняка: саму не видать, а дует отовсюду.

— Сквозняк хоть заткнуть можно, — вздохнули рядом. — Тряпок напихать.

— Вот и напихай, — посоветовал степенный. — Молча.

Про новую власть двор говорил вполголоса и с оглядкой на дверь, и в каждой версии был список: у серой дамы, говорили, есть список, и в списке — все. Кто в каком списке — тут версии расходились, но в том, что списков много и все полные, двор был единодушен.

Марга в разговоры про власть не вступала вовсе. У неё в хозяйстве власть была одна — своя, с половником, — и переписи не подлежала. Желających переписать Маргу академия не рождала пока ни одного.

— Да что книжки. — Истопник с обвязанным ухом махнул ложкой. — Книжки — дело сезонное. У нас вон человек ушёл — и никто не чешется. Сивый-то. С вечера был, а к колоколу не вышел.

— Так его, может, тоже книжки? — понадеялись с края стола. — Унесли — и вся недолга.

— Книжки, — согласился истопник ядовито. — Вещи собрал, с гвоздём попрощался — и книжки унесли. Они у нас теперь и вещи собирают.

— Кому по нему чесаться, — отозвалась прачка, суровая женщина с руками цвета кипятка. — Пришёл ничей, ушёл ничей. Даже не попрощался. Хотя он и не здоровался. Мало у нас таких было разве?

— Это вы про кого? — Марга подошла с котелком, долила обвязанному уху киселя. — Про какого Сивого?

— С хозяйственного. Серолицый такой, немолодой. С вёдрами всю зиму ходил, у огня не сживал.

Марга разогнулась.

Разогнулась она не сразу — застряла на полдороге, с котелком в наклоне, будто он вдруг потяжелел. Прищурилась куда-то мимо стены, в собственную память, где, судя по лицу, хранились не только рецепты.

— Серолицый, — повторила она. — Немолодой. Бровь ещё так... домиком.

— Он самый, — обрадовался истопник. — Знаешь его?

Она помолчала. Полотенце медленно поехало у неё с плеча, и она его не поймала.

— Так он же помер. Лет восемь как.

Глава 9. Прорубь

Полотенце доехало до пола.

Его никто не поднял. На вечерней кухне стояла тишина, какой здесь не случалось, пожалуй, со дня постройки: слышно было, как в котле доходит кисель и как за заслонкой оседает прогоревшее полено.

Первым очнулся истопник.

— Как это — помер? — Он отодвинул миску, будто миска и была во всём виновата. — Сивый?! Да я с ним вчера у колодца разминулся. Идёт, ведра несёт. Живой человек.

— Ходил, — кивнула Марга. — Не спорю. А помер.

— Тётка Марга. — Истопник потрогал обвязанное ухо, словно проверял, тем ли местом слушал. — Мало ли на свете серолицых. Обозналась, поди.

— В живых я, бывает, путаюсь, — Марга подняла полотенце с пола, отряхнула и повесила на плечо. — В покойниках — нет.

— Погодите. Когда он помер? — не выдержала Тай. Пирог она так и держала на полдороге ко рту, забыв про обе половины дела.

— Давно. — Марга взялась мешать котёл, и по тому, как взялась, было ясно: больше из неё сегодня не выжать ни черпака. — Достаточно давно, чтоб не путать.

Стол загудел вполголоса. С дальнего края уже спорили, их ли это Сивый или какой другой серолицый, — выходило, что их; кто-то вспомнил, что он и киселя ни разу не брал, и это отчего-то прозвучало хуже всего.

— А я что говорила, — тихо вступила прачка. Кружку она держала за самое донце — горячего давно не чувствовала. — Я всю зиму говорила: рукавиц не носит, руки отвалятся. В любой мороз — голыми. И хоть бы покраснели.

— Может, привычный, — понадеялся кто-то из конюхов и спрятал под стол руки не лучше прачкиных.

— Привычных к нашей воде не бывает. Бывают терпеливые. Я их всех перестирала.

— А греться он к вам ходил? — спросила Тай у истопника. — К печам. Ну хоть раз за зиму.

— Во-от! — Истопник поднял ложку, как поднимают руку в споре. — Об чём и толкую. Не ходил. Ни разу. Я сперва думал — гордый. А после гляжу: какой гордый, он навоз возит. Просто не шёл к теплу, и всё.

— Я бы умерла, — сообщила Тай с глубоким чувством. — Дважды. И второй раз — со скандалом.

— Улыбнётся, бывало, — прачка передёрнула плечами, — вежливо так. Как забор. И дальше...

— И потом! — Степенный не дал прачке договорить и перевернул ложку черенком к столу. — Ежели он помер, то куда ж он тогда шёл? Помершие — они лежат.

— Мортимер не лежит, — возразил тот же конюх: ему всё ещё хотелось, чтобы вышло попроще.

— Мортимер — покойник казённый. — Степенный поднял ложку обратно. — Помер при архиве, при архиве и состоит. Его всякий знает, что он помер, — он и сам про себя знает. А Сивый — Сивый живым ходил: нанялся, ведра таскал. Да ещё и сам собрался, сам гвоздь обмахнул. Кто ж помершим вещи в узел вяжет? Мортимер вон триста лет никуда не собирался.

Довод был крепкий, и стол ухватился за него обеими руками.

— Обозналась ты, хозяйка, — подытожил степенный, уже мягче, примирительно. — Годов-то сколько прошло. Люди меняются. А серолицые — те и вовсе все на одно лицо, на то они и серолицые.

Стол выдохнул. Версия была хорошая, из самых удобных: делать по ней никому ничего не полагалось.

— Может, и обозналась, — согласилась Марга. — А может, и вы все дураки.

Согласилась она тем голосом, каким соглашаются закрыть лавку на ночь: до утра. И пошла к котлу — вся, с половником и полотенцем, — сообщая спиной, что кисель сам себя не доварит, а разговорами она сыта до лета.

Айра сидела тихо и грела ладони о кружку.

У стола сошлось. Обознались — и славно, и по лавкам. У неё не сходилось никак: серолицего она видела ближе всех за этим столом. Вчера, в толчее у доски, плечо к плечу. Толпа грела со всех сторон — от него не шло ничего. Лицо можно спутать. Тепло не путают. Особенно то, которого не было.

И вот ещё что. Мортимер за живого не сойдёт и в темноте. А серолицый сходил — всю зиму, у всех, каждый день.

Марга помнит его покойником. Я помню, что от него не грело. И что-то у наших с ней памятей подозрительно хорошее согласие.

Ночью, уже из-под одеяла, Тай спросила в темноту:

— Ты же не полезешь?

— Нет.

— Вот и правильно. — Одеяло завозилось, устраиваясь. — А то у тебя за столом лицо было. Такое, с которым потом будят среди ночи.

— Сплю, — отозвалась Айра.

Врала она тут только про сон.

Приказ по себе она составила ещё за столом, короткий и здравый, — такие приказы она уважала и почти всегда исполняла. Сидим тихо. Дышим через раз. Люди дома Кер перетряхивают академию, как краденый сундук, — пусть трясут без нас. Покойник не наш, беда не наша, Марга обозналась, двор доволен, все спят. Утром занятия, днём кисель, вечером ничего. Скучнее адептки Сол в этих стенах не сыскать, даже если искать с фонарём.

Приказ был принят единогласно.

Исполнять его она легла с чистой совестью и лицом к стене.

Не спалось.

Вопросы пришли, едва она закрыла глаза, — скопом, без всякой очереди. Почему от него не грело. Откуда Марга знает его в лицо. Куда уходит ночью человек, который давно помер. Зачем он встал к ней вплотную и ждал, пока она обернётся.

На все вопросы у неё был один ответ: не твоё дело. Сидим тихо. Отбой.

Вопросы уходили. И возвращались с чёрного хода.

Она перевернула подушку. Полежала на спине — потолок был тёмный и не помогал. Легла к стене — на стене любопытство принялось рисовать ей угол за печью: топчан, полка, пустой гвоздь. Она этого угла в глаза не видела. Оно рисовало в подробностях.

— Ты вертишься, — сонно сказала Тай.

— Это одеяло.

— Одеяло сопит по-другому. — И, уже проваливаясь: — Спи. Утром довертишься.

А хуже прочего — любопытство умело подделывать голоса. Оно заходило голосом ремесла: след стынет, двор к завтраму затопчет всё, что там есть, — по свежему смотрят или не смотрят вовсе. Заходило голосом здравого смысла: узнать — это и есть сидеть тихо, кто предупреждён, тот и тихий. Под конец оно попробовало голос Тай — «а вдруг ему помощь нужна» — и тут перегнуло: покойникам не помогают. Покойников обходят.

Рукам она отказывать умела — наука старая, столичная: не сегодня, стойте смирно. Руки слушались. У любопытства рук не было. Хватать ему было нечем — и оно хватало её всю, от затылка до пят.

Под утро она нашла на него последний приём — тот, что работает с любой жадностью: пообещала. Не сейчас. Потом. Может быть. Когда люди Кер закончат перепись, когда двор забудет, когда зима кончится совсем. Любопытство уснуло где-то на третьем «когда». Она уснула следом — победительницей.

Ноги в этом споре не участвовали. Единственные за всю ночь.

И именно они наутро принесли её на хозяйственный двор.

В столовую она с утра сходила, как приказано, — за киселём и, положим, за Маргой. Марга стояла к залу спиной, при котлах и помощниках, и спина у неё была казённое любой двери: «до утра» оказалось не про это утро. А вот дорога из столовой через хозяйственный двор не лежала уже никаким местом — но у ног обнаружилась своя география, и спорить с ними на ходу было поздно.

Предатели. Обе.

Двор жил вполсилы и вполголоса. Подменный парень принимал дрова — принимал плохо: чурки ехали у него из рук, и никто его не ругал. Своего бы ругали. Лошадей выводили с оглядкой на южную башню: башня со вчерашнего дня числилась стороной, откуда бывает. У ворот стоял человек в тёмно-зелёном сукне — с ведомостью и без всякого дела; дело у него было одно: стоять. Айра прошла мимо скучным шагом и на всякий случай не посмотрела, что у него в руках.

А у колодца стояли вёдра — ничьи теперь. Двор ходил мимо них боком, как мимо чужой беды. Один только нтар никакой беды не видел: примеривался к дужке, отступал, примеривался снова — дужка была больше его втрое. Его не гнали. Ничьё.

— Чего тут ходишь? — спросили от поленицы, без зла, для порядка.

— Мимо иду, — сказала Айра почти правду.

В ночлежную пристройку она зашла без спроса: на «мимо» двор удовлетворился — в такое утро ему было не до гостей. Пахло там ночлегом — овчиной, портянками, вчерашним дымом. Углов за печью было четыре, и три из них жили: развешенное тряпье, кружка, чей-то мешок с луковицей поверх. Четвёртый — угол Сивого — стоял прибранный, как перед приездом строгой хозяйки.

Топчан. Полка. Гвоздь для куртки — пустой. Одеяло сложено кирпичом, углом к стене: так складывают не постель — сданное имущество. Под топчаном сапоги — правый наперёд левого — старые, латанные, летние. Зимних нет.

Своё, малое, он вымел всё: ни ложки, ни нитки. Казённое оставил до последней тряпки. На полке лежали рукавицы — нетронутой парой, даже бечёвка не снята. Конец зимы, вода, лёд — а рукавицы будто из кладовой.

За задней калиткой снег был истоптан до самой тропы, а в сторону оврага, где ходить некому и незачем, уходила одна цепочка следов. Мужская, широкая, носками прочь от академии. За две ночи след осел и оплыл, но читался: шаг мерный, нигде не сбился, ни разу не развернулся. Не оборачивался. Оборачиваются, когда боятся погони или жалеют, что уходят. Он не боялся и не жалел.

Рядом второй цепочки не было. Никто его не вёл, никто за ним не шёл. Ушёл сам, ночью, налегке — так уходят люди, которые собирались с первого дня.

И вот что не давало покоя, раз уж она всё равно стояла тут и мёрзла. Всю зиму он таскал воду под её окнами — мимо неё, мимо всех, — и она не могла припомнить его ни единого раза: ни лица, ни спины, ни голоса. А за последний свой день здесь — дважды. Утром зацепил её ведром у колодца. Днём встал вплотную в толчее и смотрел, пока она не обернулась.

В толчее толкаются все. Но не все при этом ждут, когда на них посмотрят.

А в ту же ночь — ушёл.

Айра постояла над следом ещё немного, застегнулась от ветра и признала очевидное. Приказ провален по всем пунктам. Любопытство накормлено с руки. А накормленную тварь со двора уже не прогонишь — это вам любой двор скажет.

* * *

До обеда она честно прожила расписанием, и расписание ничего не заметило. С собой она сговорила на подходе к столовой, быстро и по-деловому: одна проверка — и завязываем.

Сделка была честная, потому что версия у неё имела всего одна.

Пустоту Айра до сих пор знала за одним человеком — за Кессельроде. Рядом с ним слепнет дар: пять шагов глухого льда, она мерила их собой ещё зимой. На суде такого льда стоял целый зал — и она не увидела в нём ни единого шва, даже своего Знака под сорочкой. Старшая кровь глушит чужое, такими их и растят. Если серолицый той же крови — вся жуть разбирается сама. Мало ли зачем старшая кровь возит навоз. Смирение. Обет. Проигрыш в кости.

Проверяется такое об эталон, а эталон в академии один и ходит по расписанию: к Альене Кер близко не подойдёшь, зато Кессельроде стоит в очереди, как все люди.

Столовая гудела про своё. У южного окна кто-то из второкурсников зубрил вслух, по старинке: до весенних испытаний оставалась неделя. Испытания были годовые — всё, чему учили с осени, академия спрашивала разом, каждый цвет по своим наукам и все вместе по общим, и по итогу решалось, кто увидит следующий курс. После вчерашнего читать с выражением считалось делом для смелых, но сроки были сильнее страха. Вокруг зубрили сама собой образовалась почтительная пустота.

— Тише ты, — не выдержал сосед, косясь на окна.

— Я тихо.

— Ты вслух!

Второй унесённый слез ещё к завтраку — сам, целый, в обоих сапогах — и сидел теперь у стены, при почёте и киселе. Что ему там читали, допытывался весь стол.

— Ну хоть про что? Про войну? Про любовь?

— Про всё, — отвечал унесённый и смотрел сквозь стол глазами человека, который узнал о книгах всё.

Кессельроде вошёл минута в минуту — расписание за него помнила свита.

Очередь при нём перестроилась сама: спереди не мешкали, сзади не напирала. Вокруг наследника высокого дома всегда было просторнее, чем вокруг прочих людей, — пять шагов пустоты, его законных, — и он носил этот простор, как носят герб.

Айра взяла поднос и пошла на сближение — скучно, по шажку. Просто очередь. Просто кисель.

Началось на подходе. Давило за глазами — тупо, будто на затылок изнутри положили ладонь. Пальцы озябли, хотя от раздачи валил пар.

Она сделала последние полшага и встала вплотную — плечом к его лопатке, как в толчее стояла с серолицым. И позвала тьму — коротко, на один вдох, как заглядывают в щёлку.

И не заглянула никуда. Тьма пришла послушная и слепая: ни тёплых очертаний, ни стежки на чужих берегах, ни единого шва. Глухой лёд шагов на пять кругом — а дальше, за его краем, столовая жила теплом, и от этого лёд читался только яснее. Она стояла посреди льда, с подносом.

Айра вынырнула. Столовая вернулась вся разом — паром, звоном, чьим-то смехом, — и затылок отозвался тупой болью, как всегда после платы.

А от Кессельроде — в полушаге, вплотную — шло тепло. Обыкновенное, человеческое. Он обернулся. Нюх у него был не хуже её собственного — только на другое.

— Сол. — Он оглядел её сверху, с балкона своего роста. — Стоишь за мной.

— Очередь, господин Кессельроде. В ней стоят.

— За мной, — уточнил он с нажимом, — не стоят. Спроси любого.

Не шутить про проказу. Не шутить про проказу. Не шутить про проказу.

— Учту на будущее.

— Ты что-то задумала. — Это он сообщил без вопроса. — Я это уже видел. Кому-то оно потом дорого обходится.

— Стою за киселём.

— За киселём стоят у того окна.

— Значит, заблудилась. Я тут без году неделя.

Он посмотрел ещё немного — сверху и с запасом: один раз он её уже недооценил, и второго раза, судя по взгляду, в его планах не значилось. Потом отвернулся, бросил свите: «Задержимся — остынет», — и очередь понесла его дальше вместе с законными пятью шагами.

Спасибо, господин эталон. Вы очень помогли. Нет, объяснить не могу. Да, я опять что-то замышляю.

Своё она добрала у дальнего окна: кисель, хлеб, место у стены. Думалось под кисель не хуже, чем под перловку.

У Кессельроде глухо вокруг, а в середине — живой человек: тёплый, здоровый, довольный. Прорубь. Лёд широкий, слепой, а посреди льда вода живая. И прорубь всегда там, где её прорубили: ходить она не умеет.

В толчее было наоборот. Ни давления, ни слепоты — своё она тогда и не звала. Толпа грела со всех сторон, а сосед вплотную — нет. Пустота стояла не вокруг человека. Пустота стояла вместо человека, по его форме. И она ходила, носила вёдра, улыбалась, как забор, — и ждала, когда на неё посмотрят.

Прорубью она обозвала его тогда сгоряча, у доски, — и промахнулась. Прорубь стоит, где прорубили. Эта — ходила.

Значит, не старшая кровь. Спасибо и на этом: одного Кессельроде на её жизнь хватало с запасом.

Тогда что это было? Что стояло с ней плечо к плечу — и зачем оно ждало её взгляда?

Сделку она исполнила честно, проверка вышла одна, как договаривались. Только до проверки вопрос у неё был один, а после стало два. Такую торговлю Тевр отчислил бы из фонда за убыточность — и был бы прав.

* * *

Утром она прочла угол глазами — всё, что можно прочесть при дворе. Но глазами такое не дочитывают. Угол оставался единственным местом, где от Сивого хоть что-то осталось, и дочитывать его надо было руками и по-своему — а рыться в чужом жилье при дворе и нырять при зрителях значит одно и то же: расписаться на воротах.

Ночь Айра выбрала не глухую, а среднюю: глухой ночью ходит только тот, кому есть что прятать, а в среднюю ещё ходят за кипятком.

Для чужих глаз при ней был бельевой узел на локте: ночная стирка, самое скучное объяснение из возможных — у прачечной в этот час пусто, вода с вечера тёплая, кто понимает, тот сам так ходит. Узел заодно успокоил Тай: со стиркой среди ночи спорить не стала даже она — села в постели, оглядела узел и велела вернуться, пока вода тёплая. Чужих глаз больше не случилось. Ночами по корпусам ходил обход, но при обходе состояла кастелянша Дорис, а при Дорис — кольцо ключей, слышное за два поворота: перезвон не в лад, лучший сторожевой колокол из всех, какие можно завести даром. Перезвон она переждала в нише у прачечной — и дальше двор лежал перед ней пустой.

Перо за подкладкой было тёплым. Она тронула его на ходу — чаще, чем следовало, и всегда за одним: убедиться, что не остыло. Остынет — значит, там, в столице, у ректора что-то не так. Пока — не стыло. Большого от пера не добиться: ни что подписывает, ни спит ли, ни один ли сидит в кабинете.

Самый неразговорчивый собеседник в моей жизни. Зато не врёт.

Пристройка спала. За печной перегородкой храпели в три носа, мерно, по-рабочему: под такой храп можно вскрывать сундуки ломом. Огня она не взяла, и он не понадобился: за окном лежал снег, а снег в ясную ночь работает за лампу.

Угол Сивого она помнила утренним — целиком, как запоминала любое место. Теперь угол был другой.

Одеяло лежало тем же кирпичом, но утром его угол смотрел к стене, а теперь — в проход. Сапоги стояли той же парой, но левый первым, а утром первым стоял правый. Полку с рукавицами трогали: пыль по краю смахнута полукругом — приподняли, заглянули, положили как было. Почти как было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.